

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ  
**СТРАСТИ**  
**ПО МАКСИМУ**



**Павел Валерьевич Басинский**  
**Страсти по Максиму. Горький:**  
**девять дней после смерти**

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=156758](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156758)

*Страсти по Максиму : Горький: девять дней после смерти/ Павел Басинский: АСТ : Астрель; М;*  
*2011*

*ISBN 978-5-17-071531-2, 978-5-271-32628-8*

**Аннотация**

Писатель и журналист Павел Басинский, автор бестселлера «Лев Толстой: бегство из рая», на основе строго документального материала, в том числе и архивного, предлагает свою оригинальную версию сложной и запутанной биографии Максима Горького – одной из самых значительных личностей русской истории и литературы конца XIX – начала XX столетия.

Книга иллюстрирована фотографиями из Музея А. М. Горького в Москве.

## Содержание

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Девять дней после смерти                           | 4  |
| Заключение к протоколу                             | 4  |
| «Чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?» | 6  |
| Сам виноват?                                       | 7  |
| Чудо воскрешения                                   | 8  |
| Трагический кордебалет                             | 10 |
| Дело врачей                                        | 12 |
| «Надумали болеть!»                                 | 14 |
| «Максимушка» и «товарищи»                          | 16 |
| «Погубили, плохо»                                  | 19 |
| День первый: проклятие рода Кашириных              | 27 |
| «А был ли мальчик?»                                | 27 |
| «Без церковного пенья, без ладана...»              | 30 |
| «Сеяли семя в непахану землю»                      | 33 |
| Бабушка Акулина                                    | 38 |
| День второй: сирота казанская                      | 44 |
| То «люди», а то «человеки»                         | 44 |
| Колдун с сундуком                                  | 46 |
| Второй искуситель                                  | 48 |
| Его школы                                          | 49 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                  | 51 |

# Павел Басинский

## Страсти по Максиму: Горький: девять дней после смерти

### Девять дней после смерти

*Булычов. Стой! Как по-твоему – умру я?*

*Глафира. НЕ может этого быть.*

*Булычов. Почему?*

*Глафира. Не верю.*

*Булычов. Не веришь? Нет, брат, дело мое – плохо!*

*Глафира. Не верю.*

*Булычов. Упряма.*

*М. Горький. Егор Булычов и другие*

*Светлой памяти*

*Всеволода Алексеевича Сурганова*

### Заключение к протоколу

Официальная дата смерти М. Горького 18 июня 1936 года.

*«Пешков-Горький Алексей Максимович. Умер 18/VI–36 г.»*

Так написано синим карандашом, наискось, на предсмертной истории болезни писателя. Заключительная хроника болезни, подписанная врачами Лангом, Кончаловским, Плетневым и Левиным, фиксирует состояние умиравшего до самых последних моментов жизни:

*«18. VI.1936. 11 час. утра. Глубокое коматозное состояние; бред почти прекратился, двигательное возбуждение также несколько уменьшилось.*

*Клокочущее дыхание.*

*Пульс очень мал, но считается, в данный момент – 120. Конечности теплые.*

*11 час. 5 мин. Пульс падает, считался с трудом. Коматозное состояние, не реагирует на уколы. По-прежнему громкое трахеальное дыхание.*

*11 час. 10 мин. Пульс стал быстро исчезать. В 11 час. 10 мин. – пульс не прощупывается. Дыхание остановилось.*

*Конечности еще теплые.*

*Тоны сердца не выслушиваются. Дыхания нет (проба на зеркало). Смерть наступила при явлениях паралича сердца и дыхания».*

Заключение к протоколу вскрытия тела Горького:

*«Смерть А. М. Горького последовала в связи с острым воспалительным процессом в нижней доли легкого, повлекшим за собой острое расширение и паралич сердца.*

*Тяжелому течению и роковому исходу болезни весьма способствовали обширные хронические изменения обоих легких – бронхоэкстазы (расширение бронхов), склероз, эмфизема, – а также полное заращение плевральных полостей и неподвижность грудной клетки вследствие окаменения реберных хрящей.*

*Эти хронические изменения легких, плевр и грудной клетки создавали сами по себе еще до заболевания воспалением легких большие затруднения дыхательному акту, ставшие особенно тяжелыми и труднопереносимыми в условиях острой инфекции.*

*Вскрытие в присутствии всех семи лиц, подписавших заключение о смерти А. М. Горького (крупные медицинские чиновники, виднейшие доктора и ученые: нарком здравоохранения Каминский, начальник Лечсанупра Кремля Ходоровский, заслуженные деятели науки Ланг, Плетнев, Кончаловский, Сперанский и доктор медицинских наук Левин. – П. Б.), произвел профессор И. В. Давидовский».*

По воспоминаниям медицинской сестры Олимпиады Дмитриевны Чертковой, постоянно дежурившей возле тяжело умиравшего писателя, вскрытие проводилось прямо в спальне Горького, на его столе.

Врачи ужасно торопились.

«Когда он умер, – вспоминал секретарь и поверенный Горького П. П. Крючков, – отношение к нему со стороны докторов переменялось. Он стал для них просто трупом. Обращались с ним ужасно. Санитар стал его переодевать и переворачивал с боку на бок, как бревно. Началось вскрытие...»

Когда Крючков вошел в спальню, он увидел «распластанное окровавленное тело, в котором копошились врачи». «Потом стали мыть внутренности. Зашили разрез кое-как простой бечевкой, грубой серой бечевкой. Мозг положили в ведро...»

Это ведро, предназначенное для Института мозга, Крючков сам отнес в машину. Он вспоминал, что делать это было «неприятно».

Неприязненное отношение горьковского секретаря (вскоре казненного за будто бы убийство Горького и его сына Максима) к обычным манипуляциям медиков показывает, что вокруг умиравшего писателя бушевали темные страсти, плелись и сами собой заплетались таинственные интриги. Ни один из великих русских писателей не умирал в такой конспиративной, но в то же время открытой для вмешательства посторонних людей атмосфере. Испытываешь невольное содрогание перед тем, во что способны превратить политические интриганы самый главный после рождения момент жизни человеческой – умирание, уход из земного бытия.

Но Горький сам запутал себя в этих интригах, позволил чужим, враждебным его писательской, артистической натуре силам вмешаться не только в свою жизнь, но и в смерть. В конце концов он сам понял это и умирал «застегнутый на все пуговицы», бесстрашно ожидая смерть и глядя на всё происходившее вокруг даже с некоторой писательской иронией.

## «Чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?»

Олимпиада Черткова была не просто медсестрой Горького. Она любила его и считала себя любимой им. «Начал я жить с акушеркой и кончаю жить с акушеркой», – шутил он. Олимпиада утверждала, что именно она является прототипом Глафиры, любовницы Булычова в пьесе «Егор Булычов и другие». Она отказалась присутствовать при вскрытии дорогого ей человека. «Чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?»

Это крик боли и любви к сильному и своеобразно красивому даже в старости мужчине. Эти слова трогают и сегодня. Тем более что записывались воспоминания Олимпиады (Липы, Липочки, как ее называли в семье писателя) помощником Горького А. Н. Тихоновым в той же самой спальне и на том же самом столе.

Правда, записывались спустя девять лет после кончины Горького. Порой самые банальные чувства трогают живее драматических страстей. И спустя девять лет воспоминания Липы дышат нежностью обычной земной женщины. Уже немолодой – когда Горький умирал, ей самой было за пятьдесят. Она говорит о смерти не всемирно известного писателя, а несчастного, измученного страданиями мужчины.

Того самого, который воспел Человека как бога.

А Олимпиада что говорит?

«А. М. любил иногда поворчать, особенно утром:

– Почему штора плохо висит? Почему пыль плохо вытерта? Кофе холодный...»

В последние дни своей бурной, путаной, полной противоречий жизни Горький высоко ценил простую человеческую заботу Липочки. Он называл ее «Липка – хорошая погода» и утверждал, что «стоит Олимпиаде войти в комнату, как засветит солнце».

В ночь, когда умирал Горький, разразилась страшная гроза. И об этом тоже «Липка – хорошая погода» вспомнила спустя девять лет так, словно это было вчера. Из ее воспоминаний можно *прочувствовать* предсмертное состояние Горького.

«За день перед смертью он в беспамятстве вдруг начал материться. Матерится и матерится. Вслух. Я – ни жива ни мертва. Думаю: “Господи, только бы другие не услышали!”»

«Однажды я сказала А. М.: “Сделайте мне одолжение, и я вам тоже сделаю приятное”. – “А что ты мне сделаешь приятное, чертовка?” – “Потом увидите. А вы скушайте, как бывало прежде, два яйца, выпейте кофе, а я приведу к вам девочек (внучек, Марфу и Дарью. – П. Б.)”. Доктора девочек к нему не пускали, чтоб его не волновать, но я решила – всё равно, раз ему плохо, пусть, по крайней мере, у девочек останется на всю жизнь хорошее воспоминание о дедушке».

Внучек привели. Он с ними «хорошо поговорил», простился. Волнующая сцена. Особенно если вспомнить, что невольной причиной болезни деда стали внучки, заразив его гриппом, когда он приехал из Крыма...

## Сам виноват?

Встречавшие Горького на вокзале 27 мая 1936 года сразу заметили его плохое состояние. В поезде не спал, задыхался. О болезни Марфы и Дарьи, живших тогда в особняке на Малой Никитской, его предупредили. Тем не менее – своенравный старик! – «к ним тайком прорвался». На следующий день поехали в Горки. Там чистый лесной воздух, необходимый больным легким. По дороге потребовал завернуть на кладбище Новодевичьего монастыря. Горький еще не видел памятника сыну Максиму работы Веры Мухиной. Олимпиада стала возражать. Она обратила внимание, что по дорожке от дома к машине Горький шел как-то вяло.

«У машины задержался, – вспоминал комендант дома на Малой Никитской И. М. Кошенков, – с трудом поднял голову, поглядел на солнце, вздохнул тяжело, после большой паузы протяжно сказал:

– Всё печёт».

Тем не менее – на Новодевичье! Осмотрев могилу сына, пожелал взглянуть еще и на памятник покончившей с собой жены Сталина Надежды Аллилуевой. Тем временем поднялся холодный ветер. Тут уже и секретарь Крючков стал возражать:

– После посмотрим.

– Черт с вами, поедете!

Вечером И. М. Кошенкову позвонили из Горок и попросили прислать кислородную подушку. 1 июня доктора констатировали грипп и воспаление легких при температуре 38 градусов.

## Чудо воскрешения

В воспоминаниях секретаря Крючкова есть странная запись: «Умер А. М. – 8-го».

Но Горький умер 18 июня!

Вспоминает вдова писателя Екатерина Павловна Пешкова: «8/VI 6 часов вечера. Состояние А. М. настолько ухудшилось, что врачи, потерявшие надежду, предупредили нас, что близкий конец неизбежен и их дальнейшее вмешательство бесполезно... Врачи, считая дальнейшее присутствие свое бесполезным, один за другим тихонько вышли... А. М. – в кресле с закрытыми глазами, с поникшей головой, опираясь то на одну, то на другую руку, прижатую к виску, и опираясь локтем на ручку кресла. Пульс еле заметный, неровный, дыхание слабело, лицо и уши и конечности рук посинели. Через некоторое время, как вошли мы, началась икота, беспокойные движения руками, которыми он точно что-то отодвигал или снимал что-то...»

«Мы» – самые близкие члены семьи: Екатерина Пешкова, Мария Будберг, Надежда Пешкова (невестка Горького по прозвищу Тимоша), Липа Черткова, Петр Крючков (прозвище – Пе-пекрю), Иван Ракицкий (прозвище – Соловей, художник, живший в доме Горького со времен революции). Для всех собравшихся несомненно, что глава семьи умирает.

Будберг: «Руки и уши его почернели. Умирал. И умирая, слабо двигал рукой, как прощаются при расставании».

Когда Екатерина Павловна подошла к умиравшему, села возле его ног и спросила: «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» – на нее посмотрели с неодобрением. «Всем казалось, что это молчание нельзя нарушать» (из воспоминаний самой Пешковой).

Две главные женщины в жизни Горького (третья – бывшая гражданская жена Мария Федоровна Андреева – отсутствует), Пешкова и Будберг, в наговоренных ими воспоминаниях не могут *поделить* покойного. Будберг утверждает, что Горький в первую очередь простился именно с ней. «Он обнял М. И. и сказал: “Я всю жизнь думал о том, как бы мне изукрасить этот момент. Удалось ли мне это?” – “Удалось”, – ответила М. И. “Ну и хорошо!”»

Но Пешкова говорит, что это ее вопрос: «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» – вернул умиравшего к жизни. «После продолжительной паузы А. М. открыл глаза, выражение которых было отсутствующим и далеким, медленно обвел всех взглядом, останавливая его подолгу на каждом из нас, и с трудом, глухо, но раздельно, каким-то странно чужим голосом произнес: “Я был так далеко, оттуда так трудно возвращаться”».

Но вопрос ли «вернул» его? Или – укол камфары, который сделала Липа? Она вспомнила, что подобным образом когда-то спасла Горького в Сорренто. «Я пошла к Левину (врач Горького, потом казненный. – П. Б.) и сказала: “Разрешите мне впрыснуть камфару двадцать кубиков, раз всё равно положение безнадежное”. Без их разрешения я боялась. Левин посоветовался с врачами, сказал: “Делайте что хотите”. Я впрыснула ему камфару. Он открыл глаза и улынулся: “Чего это вы тут собрались? Хоронить меня собрались, что ли?”»

Вот и Черткова не может *поделить* Горького с другими. Хотя понятно, что ее положение в семье не сравнимо с правами законной жены (Пешковой) и любимой подруги (Будберг). Не она, а Пешкова – жена. Не ей, а Будберг посвящен «Клим Самгин». Тем не менее Липа тоже пытается оговорить себе место. Оказывается, последней женщиной, с которой А. М. простился «по-мужски», была она. «16-го мне сказали доктора, что начался отек легких. Я приложила ухо к его груди – послушать – правда ли? Вдруг как он меня обнимет крепко-крепко, как здоровый, и поцеловал. Так мы с ним и простились. Больше в сознание не приходил».

Многое настораживает в воспоминаниях Чертковой. Но в то, что Горького вернуло к жизни именно впрыскивание камфары, поверить придется. Крючков вспоминал, что и док-

тора сперва думали сделать то же самое. Но Кончаловский сказал: «В таких случаях мы больных не мучаем понапрасну». Он понимал, что ударная доза камфары в принципе способна оживить Горького. Но только на короткое время. Зачем мучить его напрасно?

Медсестра решила иначе.

Улыбался ли он при этом и бодро шутил, как утверждает Липа, или говорил загробным голосом воскрешенного Елиазара, как вспоминает Екатерина Пешкова, но факт остается фактом. Горький... ожил.

Его вернули с того света. Ему подарили еще *девять дней бытия*.

Потом Екатерина Пешкова назовет это «чудом возврата к жизни».

## Трагический кордебалет

После первого укола Горькому делают второе впрыскивание. Он не сразу на это согласился.

Пешкова: «Когда Липа об этом сказала, А. М. отрицательно покачал головой и произнес очень твердо: “Не надо, надо кончать”».

Крючков вспоминал, что «впрыскивания были болезненны» и хотя Горький «не жаловался», но иногда просил его «отпустить», «показывал на потолок и двери, как бы желая вырваться из комнаты».

Будберг: «Он колебался, затем сказал: “Вот здесь нас четверо умных, – поправился, – неглупых людей (М. И., Липа, Левин, Крючков). Давайте проголосуем: надо или не надо?”»

Крючков и Пешкова тоже вспоминают об этом странном голосовании.

Конечно, все голосуют за!

И вдруг мизансцена меняется... Появляются новые лица. Они ждали в гостиной. К воскресшему Горькому входят Сталин, Молотов и Ворошилов. Членам Политбюро уже сообщили, что Горький умирает. Они приехали и спешат проститься.

Будберг: «Члены Политбюро, которым сообщили, что Г. умирает, войдя в комнату и ожидая найти умирающего, были удивлены его бодрым видом».

Где-то за сценой – Генрих Ягода. Он прибыл раньше Сталина. Вождю это не понравилось.

Черткова: «В столовой Сталин увидел Генриха. “А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было. Ты мне за всё отвечаешь головой”, – сказал он Крючкову. Генриха он не любил».

Ягода почти свой в доме писателя. Недаром Липа всесильного руководителя карательных органов называет просто: *Генрих*. Но при Сталине Генрих тушется. Сталин же ведет себя в доме по-хозяйски. Шуганул Генриха, припугнул Пе-пе-крю. «Сталин удивился, что много народу: “Кто за это отвечает?” – “Я отвечаю”, – сказал П. П. “Зачем столько народу? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?” – “Знаю”. – “Почему такое похоронное настроение, от такого настроения здоровый может умереть!”»

Ну, а сколько было народу? Если не брать в расчет врачей и прислугу, возле Горького – только его семья. Плохая или хорошая, но это – *его* семья. Сталин членом этой семьи не был.

Пешкова: «Через некоторое время (после первого впрыскивания камфары. – П. Б.) Ал. М. поднял голову, снова открыл глаза, причем выражение лица его необычайно изменилось. Оно просветлело, стало таким, как бывало в лучшие минуты его жизни. Он опять подолгу посмотрел на каждого и сказал: “Как хорошо, что всё свои, всё свои люди...”»

Так бы вот и умереть... Да, может, он, как и Егор Булычов, «не на своей улице жил». Но любил-то он многих... И его любили... Да, путаная была жизнь! С постоянными переездами. Со всей семьей, с врачами. Из Сорренто – в Москву. Из Москвы – в Сорренто. Потом Сталин запер в СССР. «В Крыму климат не хуже». И Сорренто, чудесный городок на берегу Неаполитанского залива, где море «смеется» под солнцем, остался вдали.

Вспоминает писатель Илья Шкапа:

«– Окружили... обложили... ни взад, ни вперед! Непривычно сие!»

Это сказал Горький осенью 1935 года в кабинете дома на Малой Никитской, готовясь к отъезду в Крым.

Но вот он, последний час... Все-таки свои вокруг.

Пешкова, мать двух его детей. Правда, обоих уже нет. Младшая, Катя, умерла в младенчестве. Максим умер год назад при очень загадочных обстоятельствах. Будберг. Он любил ее страстно, ревниво. Особенно когда она не жила в его доме постоянно, как в Петрограде,

в квартире на Кронверкском проспекте, а бывала наездами. Крючков. В последнее время он прятал от него письма и разную «лишнюю» информацию. То есть был как раз одним из тех, кто его «окружил и обложил». И всё равно – свой, еще с петроградских времен. Липа. Тимоша. Соловей-Ракицкий. Так бы и умереть...

Зачем ему делали второй укол камфары?

«Хозяин» едет! И свои становятся только кордебалетом.

Будберг: «В это время вошел, выходивший перед тем, П. П. Крючков и сказал: “Только что звонили по телефону – Сталин спрашивается, можно ли ему и Молотову к вам приехать?” Улыбка промелькнула на лице А. М., он ответил: “Пусть едут, если еще успеют”».

Будберг: «Потом вошел А. Д. Сперанский со словами: “Ну вот, А. М., Сталин и Молотов уже выехали, а кажется, и Ворошилов с ними. Теперь уже я настаиваю на уколе камфары, так как без этого у вас не хватит сил для разговора с ними”».

Позвольте! Ведь только что врачи сказали жене, что «дальнейшее вмешательство бесполезно». Только что, посовещавшись – и Сперанский не мог оставаться в стороне, – они согласились «не мучить больного понапрасну».

«Уже я настаиваю»!

После этого голосование, которое предложил Горький, выглядит по-другому. Не разыгрывал ли Старик трагикомедию? Не пародировал ли таким образом тайные заседания ЦК с коллективными голосованиями? Не издевался ли Горький таким образом над апофеозом казенщины, в которую хотели превратить его смерть?

Старик – прозвище Горького среди молодых писателей. В семье его называли ласково-насмешливо: *Дука*. «Старик» – одна из лучших пьес Горького. В ней хитрый и коварный старец, похожий на персонажа повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» Фому Опискина, пытается обмануть обитателей имения. Есть образ старика и в одном из лучших рассказов Горького двадцатых годов – «Отшельник», где герой проповедует всеобщую любовь и жалость к людям. Вообще, образ старика, то злого, то доброго, но неизменно знающего о людях нечто такое, чего они сами о себе не знают, начиная с Луки в пьесе «На дне», сопровождал Горькому всю жизнь.

## Дело врачей

Крючков: «Если бы не лечили, а оставили в покое, может быть, и выздоровел бы».

Значит, врачи виноваты?

Известно, что Сталин не любил врачей. Если Ленин не признавал врачей-большевиков, предпочитая швейцарских профессоров, то Сталин их не любил как факт. Во-первых, он не доверял врачам, поскольку опасался быть залеченным до смерти. От простуды спасался народным средством: ложился под бурку и потел. Во-вторых, медики каждому человеку с возрастом сообщают всё менее и менее утешительные вещи. И вот за это Сталин особенно их не любил.

Почему из докторов, которые лечили Горького перед смертью, пострадали только Л. Г. Левин, Д. Д. Плетнев и А. И. Виноградов, умерший в тюрьме еще до суда (не путать с В. Н. Виноградовым, который в 1938 году входил в состав экспертной комиссии, помогавшей расправе с его коллегами, а затем стал личным врачом Сталина)? Почему не осудили видного терапевта, заслуженного деятеля науки, профессора Георгия Федоровича Ланга, «под непрерывным и тщательным врачебным наблюдением» которого пребывал якобы умерщвленный докторами писатель? Имя Г. Ф. Ланга, как и затем расстрелянного Л. Г. Левина, стоит в газете «Правда» от 6 июня 1936 года под первым сообщением о болезни Горького. Но если профессор Ланг «непрерывно и тщательно», как утверждает газета «Правда», наблюдал за состоянием Горького, то фактически он наблюдал за тем, как его коллега Левин убивал писателя «неправильным лечением», в чем Левин признался на суде.

Профессор Ланг дожил до 1948 года, основал свою научную школу, в 1945 году стал академиком, написал несколько трудов по кардиологии и гематологии и в 1951 году посмертно удостоен Государственной премии.

Почему не арестовали А. Д. Сперанского, ученого-патолофизиолога из Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ)? Ведь ему Горький особенно доверял, он обладал среди врачей, лечивших писателя, некоторым приоритетом. Однажды, как вспоминает Крючков, вспыльчивый Сперанский чуть не избил Левина за то, что тот сообщил Крючкову о новокаиновой блокаде (входивший тогда в моду метод лечения воспалительных процессов), которую Сперанский тайно собирался сделать Горькому и выписал для этого специальные шприцы.

На суде новокаиновая блокада фигурировала как чудодейственное средство от пневмонии, которое «злоумышленники» – Левин, Плетнев и Виноградов – не позволили применить к больному сыну Горького Максиму. Тем самым, по приказу Ягоды, будто бы ускорили его смерть.

Даже у человека, не имеющего медицинских знаний, невольно возникают вопросы. Ведь речь идет о том самом Сперанском, который 20 июня 1936 года, через два дня после кончины Горького, напечатал в «Правде» историю его болезни. В ней он писал, что «двенадцать ночей ему пришлось быть при Горьком *неотлучно* (курсив мой. – П. Б.)». Значит, Сперанский неотлучно наблюдал за тем, как его пациента безжалостно убивают Левин и Плетнев? В том числе вводя чрезмерные дозы камфары...

«Вышинский. Уточните дозировку тех средств, которые применялись в отношении Алексея Максимовича Горького.

Левин. В отношении Алексея Максимовича установка была такая: применять ряд средств, которые были в общем показаны, против которых не могло возникнуть никакого сомнения и подозрения, которые можно применять для усиления сердечной деятельности. К числу таких средств относились: камфара, кофеин, кардиозол, дигален. Эти средства для

группы сердечных болезней мы имеем право применять. Но в отношении его эти средства применялись в огромных дозировках. Так, например, он получил до 40 шприцев камфары».

Сперанский дожил до 1961 года, в 1939-м стал академиком, а в 1943-м – лауреатом Государственной премии.

Врачи виноваты? Но почему на процессе осудили одних и не тронули остальных? Никакой объективной логики в «деле врачей» не было. И это мог понять каждый, кто внимательно читал газеты того времени.

Сегодня объективно доказана невиновность врачей, лечивших Горького. Об этом пишет академик Е. И. Чазов, исследовавший историю болезни писателя, медицинские записи и заключение вскрытия. «В принципе, – пишет он, – можно было бы не возвращаться к вопросу о точности диагностики заболевания А. М. Горького, учитывая, что даже при современных методах лечения, не говоря уже о возможностях 1936 года, та патология, которая описана даже в коротком заключении, как правило, приводит к летальному исходу».

Горький был трудным пациентом. Каждый его приезд в Москву из Крыма сопровождался пневмонией. При этом Горький до конца жизни выкуривал по несколько десятков (!) папирос в сутки.

Просто у Сталина был зуб на Левина и Плетнева. И первый, и второй отказались подписать ложное заключение о смерти жены Сталина от аппендицита (на самом деле застрелилась).

К тому же Левин лечил родственников Сталина, постоянно маячил перед его глазами и одним этим его раздражал. Плетнев же был строптивым человеком и вдобавок личным врагом Вышинского. Вот и вся логика...

Но зачем врачи так спешили со вскрытием? Они боялись! Они торопились убедиться в верности своего диагноза, лечения. Ведь любая ошибка стоила бы им жизни.

Тем не менее загадочная фраза Крюкова («Если бы не лечили... может быть, и выздоровел бы»), а также поспешность, с которой делалось вскрытие, наводит на нехитрую мысль. В самом деле – не залечили ли Горького? Не по приказу Ягоды и не по желанию Сталина. Из-за... чрезмерного энтузиазма. Из-за чудовищной нервозности, которая творилась в Горках-10 в последние дни жизни писателя. Из-за неизбежного столкновения врачебных амбиций (семнадцать врачей, и все лучшие, все светила!). Из-за страха недолечить государственно важного пациента, за которого голову снимут.

О страхе советских медиков пишет в «Московском дневнике» Ромен Роллан, летом 1935 года гостивший у Горького. В Москве и Горках занедужившего Роллана наблюдали Левин и Плетнев. «До какой степени осторожными вынуждены быть советские врачи, я начинаю понимать, когда доктор Плетнев говорит мне: “К счастью, сегодняшние газеты пишут о вашем переутомлении. Это позволяет мне высказаться в том же смысле”».

## «Надумали болеть!»

Вспоминает Пешкова: «Приехали Сталин, Молотов, Ворошилов. Когда они вошли, А. М. уже настолько пришел в себя, что сразу же заговорил о литературе. Говорил о новой французской литературе, о литературе народностей. Начал хвалить наших женщин-писательниц, упомянул Анну Караваеву – и сколько их, сколько еще таких у нас появится, и всех надо поддержать...»

Сталин беспокоится:

– О деле поговорим, когда поправитесь.

Горький переживает:

– Ведь сколько работы!

Сталин строго шутит:

– Вот видите... а вы... Работы много, а вы надумали болеть, поправляйтесь скорее.

И наконец – последний аккорд:

– А быть может, в доме найдется вино, мы бы выпили за ваше здоровье по стаканчику.

«Принесли вино... Все выпили... Ворошилов поцеловал Ал. М. руку или в плечо. Ал. М. радостно улыбался, с любовью смотрел на них. Быстро ушли. Уходя, в дверях помахали ему руками.

Когда они вышли, А. М. сказал: “Какие хорошие ребята! Сколько в них силы...”»

Но насколько можно доверять этим воспоминаниям Пешковой? В 1939 году она *выпрала* свой устный рассказ, записанный летом 1936-го с ее слов сразу после чудесного возвращения Горького к жизни. С тех пор состоялись судебные процессы 1936–38 годов, на которых была разгромлена сталинская оппозиция, а образ Горького был внедрен в народное сознание в качестве жертвы этой оппозиции и друга вождя.

В 1964 году на вопрос американского журналиста и близкого знакомого Исаака Дон Левина об обстоятельствах смерти Горького Пешкова отвечала уже иначе: «Не спрашивайте меня об этом! Я трое суток заснуть не смогу, если буду с вами говорить об этом».

Ее можно понять. Можно понять и Будберг, наговорившую свои воспоминания через пять дней после смерти Горького, перед тем как ее выпустили в Лондон. Она не могла не учитывать, что между тем, *что* она скажет, и ее отъездом существует прямая зависимость. Будберг утверждает, что в течение девяти последних дней жизни Горький непрерывно думал о «сталинской» Конституции. Ее проект был опубликован как раз в эти дни.

«Очень хотел прочитать Конституцию, ему предлагали прочитать вслух, он не соглашался, хотел прочитать своими глазами. Просил положить газету с текстом Конституции под подушку в надежде прочитать “после”. Говорил: “Мы вот тут занимаемся всякими пустяками (болезнью), а там, наверно, камни от радости кричат”».

Через девять лет Черткова резонно возразит в своих воспоминаниях: «Если бы газета лежала под подушкой, я бы видела...»

Тем не менее в воспоминаниях Будберг проскальзывают и опасные замечания: «Приехавшие (Сталин, Молотов и Ворошилов. – *П. Б.*) с *деланой бодростью* (курсив мой. – *П. Б.*) заговорили о текущих делах». Из ее же воспоминаний следует, что Сталин с товарищами приезжали второй раз в два часа ночи. Но зачем?! Крючков относит этот ночной визит на 10 июня. Но почему ночью? Горький спал. Крючков и Будберг говорят, что Сталина «не пустили». Воспротивился профессор Кончаловский. Будберг утверждает, что не пустили она и профессор Ланг, а вот доктор Левин (впоследствии расстрелянный) «лебезил и говорил Сталину: “Ну, если вы так хотите, то я попытаюсь”».

Визит Сталина с членами Политбюро в два часа ночи к смертельно больному Горькому сложно понять нормальному человеку. Хорошо известно пристрастие Сталина к ночным посиделкам с выпивкой и обсуждением важных государственных проблем. Молотов и Ворошилов входили в ближайшее окружение Сталина. Может быть, 10 июня ночью они просто решили изменить маршрут и заехать к Старику? Вино в доме есть. Подали ведь шампанское в прошлый визит, дабы отметить чудесное воскрешение Горького.

Согласно воспоминаниям Крючкова, третий – и последний – визит Сталина состоялся 12 июня. Горький не спал. Однако врачи, как ни трепетали они перед Сталиным, дали на разговор только десять минут. О чем они говорили? О книге Шторма про крестьянское восстание Болотникова. Затем перешли к «положению французского крестьянства» (воспоминания Будберг). Получается, что 8 июня главной заботой генсека и вернувшегося с того света писателя были женщины-писательницы, а 12-го стали французские крестьяне.

Будберг говорит, что 12 июня Горькому было очень плохо. То же подтверждается и врачебными хрониками: «...значительная общая слабость, спутанность сознания, часто цианоз. <...> Сидит. Время от времени дремлет. <...> Около 1 ч дня вырвало свернутым молоком. <...> Дремлет сидя. Отек нижних конечностей»...

Однако после посещения Сталина, как вспоминает Будберг, Горькому стало гораздо лучше. И доктора это подтверждают: «Сознание ясное. <...> Пульс правильный».

Создается поразительное впечатление! Приезды Сталина волшебным образом оживляют Горького. (Если на минуту забыть об ударных инъекциях камфары.) Горький словно *не смеет* умереть без разрешения Сталина. Это невероятно, но Будберг прямо скажет об этом пять дней спустя после кончины писателя: «Умирал он, в сущности, 8-го, и если бы не посещение Сталина, вряд ли вернулся к жизни. Ощущение смерти было и 12-го». Именно в тот день Сталин приезжал в последний раз. После его посещения Горький проживет еще пять дней.

Семнадцать врачей круглосуточно бьются за жизнь государственно важного пациента. Но спасает его мудрая беседа со Сталиным. О женщинах-писательницах и французских крестьянах.

«Надумали болеть!»

## «Максимушка» и «товарищи»

«Были у Вас в два часа ночи. Пульс у Вас, говорят, отличный (82, больше, меньше). Нам запретили эскулапы зайти к Вам. Пришлось подчиниться. Привет от всех нас, большой привет. И. Сталин».

Эскулап в римской мифологии – бог врачевания, соответствует греческому Асклепию. В переносном смысле – это врач. Кстати, Асклепий воскрешал мертвых.

Сталин умел быть ироничным.

Что же все-таки происходило?

Горький не входил в сталинское окружение. Сталин мог называть (и даже считать) его своим соратником. Он мог называть (и даже считать) его своим другом. Но не частью окружения. Положение Горького в СССР и во всем мире было слишком значительно, чтобы Сталин посмел *без необходимости* вламываться к нему ночью, прекрасно зная о его физическом состоянии.

Впрочем, Ромен Роллан в «Московском дневнике» с удивлением замечает, как Сталин развязно подшучивает над Горьким во время застолья: «Кто тут секретарь, Горький или Крючков? Есть порядок в этом доме?»

Вячеслав Иванов, лингвист, сын советского писателя Всеволода Иванова, вспоминает (со слов отца), что Горький был возмущен резолюцией Сталина на поэме «Девушка и Смерть», начертанной осенью 1931 года. Вот ее точный текст: «Эта штука сильнее, чем “Фауст” Гёте (любовь побеждает смерть). 11/X–31 г.»

«Мой отец, говоривший об этом эпизоде с Горьким, утверждал решительно, что Горький был оскорблен. Сталин и Ворошилов были пьяны и валяли дурака...»

Вообще-то валять дурака было нормой в семье Горького. Там ценились острые шутки. Особенно когда появлялся неугомонный Максим. Но Сталин не был членом семьи. Как и Бухарин, который (о чем с не меньшим изумлением пишет Ромен Роллан) в шутку «обменивается с Горьким тумаками (но Горький быстро запросил пощады, жалуясь на тяжелую руку Бухарина)». И дальше: «Уходя, Бухарин целует Горького в лоб. Только что он в шутку обхватил руками его горло и так сжал его, что Горький закричал».

Горький не был *вполне* человеком партийного круга. Его культурная и нравственная харизма была иной. Поэтому Горький мог свободно общаться с пушкинистом Ю. Г. Оксманом, физиологом И. П. Павловым, художником А. Н. Бенуа, востоковедом С. Ф. Ольденбургом и другими людьми отнюдь не партийного круга. И Сталин не мог этого не понимать...

Значит, попытка ночного вторжения была вызвана *необходимостью*. Сталину это было зачем-то нужно. И 8-го, и 10-го, и 12-го ему был необходим откровенный разговор с Горьким или стальная уверенность, что такой же откровенный разговор не состоится с кем-то другим. Например, с ехавшим из Франции к умиравшему Горькому Луи Арагоном.

Отношение Сталина к воскрешению Горького не вполне понятно. Он смущен и недоволен, что вокруг Горького слишком много людей. Особенно он недоволен присутствием Ягоды. На первый взгляд это кажется нелогичным. Кому же, как не главе НКВД, сторожить последнее дыхание (и последние слова!) государственного человека? И ведь уже не секрет, что у вождя с Горьким возникли разногласия. Он дружит с противниками Сталина – Рыковым, Бухариным, Каменевым. Григорий Зиновьев обращается к нему за помощью из тюрьмы:

Алексей Максимович!

Искренно прошу Вас, простите мне, что после всего случившегося со мной я вообще осмеливаюсь писать Вам. У меня давно не было с Вами ни личного, ни письменного общения, и мне, по правде говоря, часто казалось,

что я лично не пользовался Вашими симпатиями и раньше. Но ведь Вам пишут многие, можно сказать, все. Причины этого понятны. Так разрешите и мне, сейчас одному из несчастнейших людей во всем мире, обратиться к Вам.

Самое страшное, что случилось со мною: на меня легло гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершившихся на земле, – убийство С. М. Кирова, того Кирова, о котором Вы так прекрасно сказали, что «убили простого, ясного, непоколебимо твердого, убили за то, что он был именно таким хорошим и – страшным для врагов» (цитата из статьи Горького «Литературные забавы», опубликованной в газете «Правда» 24 января 1935 года. – *П. Б.*). Конечно, раньше мне никогда и в голову не приходило, что я могу оказаться хоть в какой-то степени связанным с таким, по Вашему выражению, «идиотским и подлым преступлением». А вышло то, что вышло. И пролетарский суд целиком прав в своем приговоре. Сколько бы ни пришлось мне еще жить на свете, при слове «Киров» мое сердце каждый раз должно почувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, идущее от всех лучших людей Союза (да и всего мира). <...>

Два дня суда были для меня настоящей казнью. До чего дошло дело, я здесь увидел целиком впервые. Описать мне то, что пережито за эти дни, нет сил. Да для этого нужно и перо другой силы. В душе настоящий ад. Болит каждый нерв. Страшно даже пытаться это описывать. <...>

Вы – великий художник. Вы – знаток человеческой души, Вы – учитель жизни, Вы знаете и хотите знать всё. Вдумайтесь, прошу Вас, на минуточку, что означает мне сидеть сейчас в советской тюрьме. Представьте себе это конкретно. <...>

Помогите, Алексей Максимович, если сочтете возможным! Помогите, и, я думаю, Вам не придется раскаиваться, если поможете.

Живите счастливо, Алексей Максимович, живите побольше – на радость всему тому, что есть хорошего на земле. Того же от всего сердца я желаю Иосифу Виссарионовичу Сталину и его соратникам. Если позволите, жму Вашу руку.

*Г. Зиновьев*

Я кончаю это письмо 28 января 1935 г. в ДПЗ, и сегодня же меня, как мне сказано, увозят... Куда – еще не знаю. Самое страшное: книг, которые мне переданы родными, я не получил. Мне их не дают пока. Я полон по этому поводу ужасной тревоги. Помогите! Помогите!

Ни письмо Зиновьева, ни письмо Каменева с такой же просьбой о помощи не были переданы Горькому. Это были гласы вопиющих в пустыне, «увы, не безлюдной», как любил говорить Горький.

Обратим внимание, что Зиновьев отделяет Горького от непосредственного окружения Сталина. В его глазах Горький – последняя сила, не только не подчиненная Хозяину, но и способная сама повлиять на него. Понятно, что письмо написано эзоповым языком, с недвусмысленными намеками, по каким направлениям вести защиту Зиновьева перед Сталиным, если эта защита состоится. Зиновьев льстил Сталину в расчете на то, что Горький (например, во время дружеского застолья) передаст Хозяину лесть и по доброте душевной замолвит за него словечко.

Но сравним это с посланием бежавшего после революции из Петрограда в Сергиев Посад писателя-философа В. В. Розанова. Розанов погибал с семьей от голода и холода и в конце 1917-го обратился за помощью к Горькому:

«Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена, и дров нету; дочки смотрят на последний кусочек сахара около холодного самовара; жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза... и я, глупый... Максимушка, родной, как быть? <...> Максимушка, я хватаюсь за твои руки. Ты знаешь, что значит хвататься за руки? Я не понимаю ни как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну...»

Жертвы и палачи на краю могилы – как они похожи друг на друга! Как новорожденные дети, которых только матери способны различить. И как это разительно противоречило горьковской мечте о гордом Человеке! Вот они, «человеки», умоляют «Максимушку», который еще чем-то может помочь. А чем он может им помочь? Он сам бессилен.

Впрочем, в 1918 году он помог Розанову. Передал через М. О. Гершензона четыре тысячи рублей, позволившие семье философа выжить лютой подмосковной зимой 1917–1918 годов.

Но могло ли спасти Зиновьева заступничество Горького, если бы таковое состоялось? Нет. Обречен был не только Зиновьев. Обречен был сам Горький. Слишком запутался. И даже если бы не грипп, не пекло, не майский ветер... И не смерть сына Максима...

## «Погубили, плохо»

**«Председательствующий.** Подсудимый Крючков, поскольку вы подтвердили уже свои показания, данные на предварительном следствии, расскажите вкратце о ваших преступлениях».

Крючкова обвиняли в том, что он вместе с доктором Левиным по заданию Ягоды «вредительскими методами» умертвил сына Горького Максима Пешкова. Но зачем? Если следовать показаниям других подсудимых, политический расчет был у «заказчиков» – Бухарина, Рыкова, Зиновьева и других «оппозиционеров». Они таким иезуитским способом хотели ускорить смерть самого Горького, выполняя задание Троцкого. У Крючкова, если верить его признаниям, были «экономические» задачи. Убивая Максима, он якобы надеялся стать собственником огромного творческого наследия писателя. Но каким образом? Для этого Крючкову следовало устранить еще и жену Горького, его невестку и внучек. Этого законного вопроса А. Я. Вышинский подсудимому не задал.

**«Крючков.** Он (Ягода. – П. Б.) тогда говорил мне так: дело тут не в Максиме Пешкове – необходимо уменьшить активность Горького, которая мешает “большим людям” – Рыкову, Бухарину, Каменеву, Зиновьеву. Разговор происходил в кабинете Ягоды. Он мне говорил также о контрреволюционном перевороте. Насколько я помню его слова, он говорил о том, что в СССР скоро будет новая власть, которая вполне будет отвечать моим политическим настроениям. Активность Горького стоит на пути государственного переворота, эту активность нужно уменьшить. “Вы знаете, как Алексей Максимович любит своего сына Максима. Из этой любви он черпает большие силы”, – сказал он».

Налицо был самооговор. Крючков говорил как по писаному. Причем писанному плохим литератором. Нестыковка была в том, что Горький как раз относился к породе людей, которых удары судьбы не ослабляли, а закаляли. Мобилизовали волю. Кто-кто, но уж Крючков, работавший с Горьким с давних пор, не мог этого не знать.

Горький не был обычным человеком. У него было особое отношение к жизни и смерти. В том числе – к жизни и смерти близких людей. Даже такие удары, как смерть собственных детей, он переносил (внешне) со странным хладнокровием.

Когда в Нижнем Новгороде умирала от менингита дочь Горького Катя, писатель находился в Америке. Выступал, встречался с Марком Твенем, давал интервью газетам, собирал деньги для московского восстания и писал «Мать». Вдруг 17 августа 1906 года приходит телеграмма от Е. П. Пешковой. Положение Горького было вдвойне мучительным. Известие о смерти пятилетней Катюши пришло не просто от безутешной матери – ведь Горький бросил Пешкову ради актрисы Московского Художественного театра М. Ф. Андреевой (она и была с ним в американской поездке как гражданская жена). Всякий мужчина растерялся бы в этой ситуации. Только не Горький...

«Я прошу тебя – следи за сыном, – пишет он Пешковой. – Прошу не только как отец, но – как человек. В повести, которую я теперь пишу, – “Мать” – героиня ее, вдова и мать рабочего-революционера <...> говорит:

– В мире идут дети... к новому солнцу, идут дети к новой жизни... Дети наши, обрекшие себя на страдание за все люди, идут в мире – не оставляйте их, не бросайте кровь свою вне заботы».

Но ведь это Горький «бросил кровь свою вне заботы». И потом – за что была обречена на страдание пятилетняя девочка? «За все люди»?

Горький мог расплакаться над литературным произведением, о чем с иронией писал Маяковский, вспомнив в автобиографии, что Горький разрыдался у него на плече после прочтения поэмы «Облако в штанах». Но вот конец одного из самых пронзительных рассказов

Горького – «Страсти-мордасти». В рассказе говорится о несчастном обезноженном мальчике и его матери, проститутке, больной сифилисом. Покидая их подвал, автор от имени своего героя говорит: «Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь». Но почему бы не зареветь? Рассказ автобиографичен. Эту семью Алексей Пешков встретил, когда ему был двадцать один год и он разносил в Нижнем Новгороде «баварский квас». Очень может быть, что в реальности он и заплакал, слушая страшенькую колыбельную проститутки:

Придут Страсти-Мордасти,  
Приведут с собой Напасти;  
Приведут они Напасти,  
Изорвут сердце на части!  
Ой беда, ой беда!  
Куда спрячемся, куда?

Сердце автора разрывается на части. Он скрипит зубами, сдерживая рыдания. Но важно, что слезы *нужно* сдерживать! Нельзя ослаблять волю, давая свободу слезам над обреченными людьми. Тем более – умершими. Даже если это *твои* дети. 22 мая 1934 года, через одиннадцать дней после смерти Максима, Горький пишет Сталину:

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Согласно разрешению Вашему посылаю Вам письма изобретателей Поспелова и Львова. Поспелов утверждает, что устрашающий шум – треск пулеметов, крики «ура», топот конницы и т. д. – можно перенести в тыл позиции врага и этим смутить его. Сын мой видел электросварочный аппарат Львова в работе и говорил мне, что работает аппарат безукоризненно – с техникой электросварки Максим был неплохо знаком, изучая ее в Италии. Львов – конструктор аэроплана «Сталь-2», имеет орден Ленина. Болен: туберкулез и ревматизм, нужно бы усилить и улучшить его питание. Я очень прошу Вас предложить Серго Орджоникидзе вызвать Львова к себе и немножко приласкать его, позаботиться о нем, он человек высокой ценности.

Будьте здоровы.

Врач Сперанский вспоминал: «В семье Горького мне пришлось уже пережить одно тяжелое событие. Два года назад умер его сын – Максим Алексеевич Пешков, человек большого своеобразия, талантливый, искренний, несколько отвлеченная натура, преданная делу своего отца, оставивший многие из подлинно своих начинаний, чтобы служить ему. Болезнь сразу приняла катастрофический характер. В последний день Алексей Максимович не ложился спать. Долго, до поздней ночи, сидел в столовой и вел беседу на посторонние темы – о войне, о фашизме, но главным образом о ходе работ института <ВИЭМ>. Временами мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия готовилась наверху. Однако Горький сидел, лицо его было полно внимания, реплики к месту, и только нервное постукивание пальцев лежащей на скатерти руки могло вызвать подозрение о том, что у него делается внутри. Когда через два часа после смерти сына к нему со словами сочувствия пришли старшие товарищи, он сделал усилие и перевел разговор на рельсы посторонних вопросов, сказав: “Это уже не тема”. Так же Алексей Максимович умер и сам. Просто, как если бы исполнял настоящую обязанность».

В воспоминаниях Сперанского (кстати, опубликованных в «Известиях» 24 июня 1936 года, *до* суда над «убийцами» Горького и Максима) бросается в глаза фраза: «Мне было трудно говорить, *так как я знал, какая трагедия готовилась наверху* (курсив мой. – П. Б.)». Сперанский намекает на врачебную ошибку Левина и Плетнева, лечащих докторов Горького. Именно они находились с Максимом, пока Горький со Сперанским скрепя сердце

обсуждали проблемы долголетия, а может быть, и бессмертия человека. Но почему Сперанский не спешил наверх, где умирал Максим?

**«Крючков.** Когда Максим Пешков узнал, что он болен крупозным воспалением легких, он попросил – нельзя ли вызвать Алексея Дмитриевича Сперанского, который часто бывал в доме Горького. Алексей Дмитриевич Сперанский не был лечащим врачом, но Алексей Максимович его очень любил и ценил как крупного научного работника. Я сообщил об этом Левину. Левин на это сказал: ни в коем случае не вызывать Сперанского. <...> Консилиум, который был созван по настоянию Алексея Максимовича Горького, поставил вопрос о применении блокады по методу Сперанского, но доктора Виноградов, Левин и Плетнев категорически возражали и говорили, что надо подождать еще немного. В ночь на 11-е число, когда Максим уже фактически умирал и у него появилась синюха, решили применить блокаду по методу Сперанского, но сам Сперанский сказал, что уже поздно и не имеет смысла этого делать».

Таким образом, всё более или менее становится на свои места. Оскорбленный недоверием к своему методу Сперанский и сочувствующий ему, но не желающий возражать Левину и Плетневу, Горький, понимая, что «дело кончено» и Максим обречен, ведут беседу о том, что важнее смерти сына. О жизни и долголетьи человека. Когда «старшие товарищи» (так не без иронии называет Сперанский врачей: Левин старше его на восемнадцать лет, Плетнев – на шестнадцать) приходят выразить свое сочувствие, Сперанскому остается развести руками. А Горькому с хладнокровием сказать: «Это уже не тема».

Но это еще не доказывает убийства Максима.

Правда, переплетенная с вымыслом, хороша в литературном произведении. Метод художественного преобразования действительности был излюбленным методом Горького. В 1938 году на «бухаринском» процессе этот метод применили на живых людях. Их принудили стать творцами собственных мифологизированных биографий – убийц, шпионов и заговорщиков. Причем творцами публичными, живописующими свои злодеяния прилюдно.

Всё, что мешало, не принималось в расчет. Сперанский, который был бесценным свидетелем, даже не был допрошен судом. Зачем? Левин и Крючков и так всё на себя взяли.

Это был суд, основанный только на признаниях самих подсудимых. А уж как они были получены... На самом деле гибель Максима, наоборот, могла только помешать «заговорщикам», возбудив в Горьком ненависть к врагам и крепче привязав к Сталину.

Отчасти так и произошло.

Именно Сталину пишет письмо Горький, едва похоронив сына. И в этом письме делает покойного Максима помощником в их со Сталиным общем деле – развитии оборонной мощи СССР. Конечно, Сталин не может отказать отцу, который привлекает в качестве эксперта только что погибшего сына. На автографе письма стоит сталинская резолюция: «Сделано. В мой арх[ив]. И. Ст[алин]». Подчеркнуто рукой вождя. Писем изобретателей Львова и Поспелова в архиве нет. Стало быть, не легли под сукно, а были переданы кому надо.

Тем не менее есть несколько свидетельств, как тяжело переносил Горький потерю Максима. Его крымский шофер, сотрудник Главного управления НКВД Крыма Г. А. Пеширов (кстати, приглашенный на работу Максимом, который лично устраивал жизнь отца в Тессели) в своих воспоминаниях рассказывает: «Похоронив сына, А. М. вернулся в Крым, на дачу в Тессели. Работал так же, как раньше, так же вставал в определенный час, завтракал и шел в свой рабочий кабинет и работал до обеда. После обеда выходил в парк, но уже не работал, а только руководил нами (обитатели дачи, включая самого Горького, расчищали дорожку к морю от колючего кустарника. – *П. Б.*), а сам, опираясь на палку, ходил от костра к костру и своей палкой поправлял горящие ветки. Всем было ясно, что А. М. потерю любимого сына сильно переживает, и боялись, как бы он не слег».

В таких же мрачных тонах описывает состояние Горького и комендант дома на Малой Никитской И. М. Кошенков. Судя по записи в дневнике от 28 мая 1934 года, Кошенков все-таки подозревал Ягоду и Крючкова в убийстве Максима. В дневнике рассказывается о том, как после смерти Максима Горький выходит в сад и подходит к бассейну, куда недавно пустили мальков окуня.

«— Где же рыба — мальки?

Я объяснил, что всё погибло.

— Погубили, плохо. — С этими словами он ушел в столовую пить кофе».

Впрочем, Кошенков объясняет причину гибели мальков: рыба ушла в канализационную трубу, потому что кто-то сдвинул загораживающую сеть.

Потерянность Горького видна из таких деталей, как дважды повторенные слова «посылаю Вам» в оригинале цитированного письма к Сталину, а также в ошибке в подписи под другим письмом к вождю: «М. Пешков». Свои письма к Сталину он подписывал либо «А. Пешков», либо «М. Горький», но в данном случае произошло наложение подписей друг на друга. Но какое символическое! «М. Пешков» (Максим Пешков) как бы пишет Сталину рукой отца через тринадцать дней после своей смерти.

И все-таки — убили Максима или нет? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. И едва ли когда-нибудь станет возможно. Есть загадки истории, которые обречены быть вечными тайнами.

«В том, что Макса убили, сомневаться не приходится», — пишет лингвист Вячеслав Иванов. Это его мнение происходит от уверенности его родителей, которые были близки к Горькому и тем людям, которые его контролировали. Так, Вячеслав Иванов откровенно пишет о близком знакомстве отца с самим Сталиным, Дзержинским и Ягодой.

Для устранения Максима, полагает Вячеслав Иванов, у Сталина были как личные, так и политические мотивы. Максим имел независимый характер и не желал считаться с тем, что отец является фигурой государственного значения. Сам тесно связанный с органами со времен работы в ЧК, Максим Пешков пытался в обход Сталина и Ягоды обустроить и регулировать жизнь в семье. Например, он запретил комендантам в Горках и особняка в Москве носить при себе личное оружие. «Мы частная семья», — говорил он.

В то же время Максим раздражал Сталина своей бесшабашностью. Однажды он, страстный автогонщик, обогнал на шоссе машину Сталина. Горький знал, что делать этого категорически нельзя, и сразу поехал к Сталину с извинениями.

Но главная причина, считает Вячеслав Иванов, была политическая. Максим мешал Сталину контролировать отца через Крючкова. Кроме того, Иванов выдвигает любопытную гипотезу, что Максим, как и отец, был сам причастен к антисталинской оппозиции и даже ездил весной 1934 года в Ленинград с поручением к Кирову. Это произошло во время напряженной внутрипартийной борьбы на XVII съезде партии. Вскоре Киров был убит террористом Николаевым прямо в Смольном при загадочных обстоятельствах.

«В день убийства Кирова, — пишет Вячеслав Иванов, — Горький был на даче в Тесели. Утром он вышел в столовую, где была одна В. М. Ходасевич (художница, племянница поэта Владислава Ходасевича, в семье Горького ее звали Купчихой. — П. Б.). Было еще темно. Шторы были задернуты. Горький подвел Валентину Михайловну к окну, отодвинул занавеску и показал ей на чекистов, окруживших дачу сплошным кольцом и сидевших под каждым кустом в саду. Горький сказал ей, что они не охраняют его, а стерегут».

Максим вполне мог оказаться жертвой политических интриг. Если так, то слова Крючкова на суде были полуправдой. Еще Крючков признался, что по заданию Ягоды спаивал Максима.

Но о пристрастии Максима к алкоголю можно судить по многим свидетельствам. Например, покинув осенью 1921 года Россию и приехав в Берлин, Горький пишет Е. П. Пеш-

ковой: «Многоуважаемая мамаша! Приехав, после различных приключений на суше и на воде, в немецкий городок Берлин, густо населенный разнообразными представителями русского народа, я увидел на вокзале самое интересное для Вас существо – Вашего собственноручного сына. Мы с ним поздоровались обоюдно почтительно и радостно, а затем поехали на автомобиле пить различные алкоголические жидкости в улицу, которая называется Фридрихсдамменштрассе – по-русски: Фридриховых дам».

За иронией, с которой Горький пишет о многочисленной русской эмиграции в Берлине, легко не заметить важные слова, которых явно, ждала от него Пешкова. Вот они: «В опровержение тех совершенно точных сведений, которые ты получила от справедливых людей, доподлинно знающих всяческие интимности о жизни ближних своих, свидетельствую: М. А. Пешков в употреблении спиртуозных напитков очень скромн и даже более чем скромн. Это наблюдение мое клятвенно подтверждают люди, живущие с Максимом под одной крышей и тоже очень трезвого поведения. Полагая, что юноша не совсем здоров, потому и не спиртоспособен, я тщательно исследовал состояние его души и тела».

Если опустить иронию, то обнаружится истинный смысл письма. Горький отвечает на тревожный вопрос обеспокоенной Пешковой, до которой уже дошли слухи о пьянстве Максима за границей.

Проблема эта существовала.

У Горького такой проблемы не было. Ромен Роллан описывает пир, который устроили для него на даче Горького: «Стол ломится от яств: тут и холодные закуски, и всякого рода окорока, и рыба – соленая, копченая, заливная. Блюдо стерляди с креветками. Рябчики в сметане – и всё в таком духе. Они много пьют. Тон задает Горький. Он опрокидывает рюмку за рюмкой водки и расплачивается за это сильным приступом кашля, который заставляет его подняться из-за стола и выйти на несколько минут. Ни у кого из присутствующих – даже у Крюкова, любящего его и присматривающего за ним, – не хватает смелости помешать ему нарушать запреты врача».

Напомним, что Горькому остается год до смерти. Но его «пьянство» никого не волнует. «Я должен добавить, – продолжает Ромен Роллан, – что в обычное время Горький всегда трезв и ест на удивление мало, даже слишком, но доктора Левина это не беспокоит: у Горького вне сомнений конституция человека, лучше приспособляющегося к недостатку, чем к избытку».

С Максимом было сложнее... В воспоминаниях о Леониде Андрееве Горький приводит слова Андреева: «Ты пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я алкоголик...»

Невозможно было придумать лучшего способа убить Максима, чем напоить и оставить спать на холодном воздухе, зная о его слабости к алкоголю и наследственно уязвимых для пневмонии легких. Но если Сталин «заказал» Максима, то через Ягоду. Преданный Горькому секретарь Крючков мог выступать только запуганным исполнителем. Таким образом, всё могло происходить именно так, как рассказывал Крючков на суде. За исключением одной-единственной детали. Максим мешал не «большим людям» Рыкову, Бухарину, Зиновьеву и другим. Он мешал самому большому человеку в СССР – Сталину.

При этом, как показывают недавно обнародованные факты (Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности: сборник статей. Казань, 1997), именно Генрих Ягода был одной из главных фигур оппозиции, а вовсе не исполнителем чужой воли. На это намекает и Вячеслав Иванов в статье «Почему Сталин убил Горького?»: «Горький в этом смысле был в уникальном положении. Он был в близких отношениях с Ягодой и в то же время связан давними политическими разговорами с “Ивановичами” (Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков. – *П. Б.*). Если тот союз Ягоды с правыми, о котором шла речь на подложном процессе, и мог существовать, то только

при посредничестве Горького, о чем на процессе, где Ягоду винили в его убийстве, говорить было нельзя».

Помощник Ягоды П. П. Буланов на закрытом допросе 25 апреля 1937 года (материалы допроса не были оглашены в суде, и это как раз свидетельствует в пользу их истинности) рассказал, что Ягода, в случае победы оппозиции, видел себя в кресле премьер-министра: «Ягода до того был уверен в успехе переворота, что намечал даже будущее правительство. Так, о себе он говорил, что он станет во главе Совета народных комиссаров, что народным комиссаром внутренних дел он назначит Прокофьева, на наркомпуть он намечал Благонравова. Он говорил также, что у него есть кандидатура и на наркома обороны, но фамилию не назвал, на пост народного комиссара по иностранным делам он имел в виду Карахана. Секретарем ЦК, говорил он, будет Рыков. Бухарину он отводил роль секретаря ЦК, руководителя агитации и пропаганды. <...> Бухарин, говорил он, будет у меня не хуже Геббельса».

Таким образом, обстоятельства вероятного убийства Максима стягиваются в gordиев узел. В смерти сына Горького одновременно заинтересованы и не заинтересованы все возможные участники дела.

Самая слабая фигура – Крючков. Он – крайний. Преданность его Горькому не вызывает сомнений. Доброе отношение к нему Горького – тоже. Вот письма к нему Горького, написанные в разные годы:

31 октября 1924 года – из Сорренто.

«Теперь, по тону письма вижу, что Вы на “посту” (в советском торгпредстве в Германии. – П. Б.) и что роль “Дизеля” продолжает увлекать Вас. О голове, превратившейся в самопишущую машинку, Вы написали хорошо. Не хочу говорить Вам комплименты – уже говорил, и очень искренне говорил, а все-таки скажу: настоящую человеческую жизнь строят только художники, люди, влюбленные в свое дело, люди эти редки, но встречаются всюду, среди кузнецов и ученых, среди купцов и столяров. Вот Вы один из таких художников и влюбленных. Да.

Крепко жму руку, дорогой друг мой».

4 февраля 1927 года – из Сорренто.

«...когда я буду богат, я поставлю Вам огромный бронзовый монумент на самой большой площади самого большого города. Это за то, что спасли мне мои книги. Кроме шуток, горячо благодарю Вас».

На плечах Крюčkова – невысказанный груз. Он и секретарь, и охранник, и нянька Горького. Именно он ограничивает доступ к Горькому. Особенно настырных писателей, которые ненавидят его за это. Он кладет на стол Горького не все письма. Если бы он отдавал все, Горький читал бы их с утра до ночи. И еще надо было следить, чтобы Горький меньше курил и излишествовал. В то же время он обязан быть информатором Ягоды и Сталина. Шутки и угрозы Хозяина («Кто здесь секретарь? Горький или Крючков?»; «Кто за это отвечает?»; «Вы знаете, что мы можем с вами сделать?») крутятся в его голове постоянно.

Чуткий к психологическим деталям Ромен Роллан хорошо понял жизненную драму Крюčkова. В «Московском дневнике» он отмечает, что Крючков искренне любил Горького и понимал безнадежность своего положения. Вот в Горки приезжают девяносто (!) писателей Москвы. Список огромен. Но он был бы еще больше, если бы Крючков с Ягодой не сократили его. Отлученные от высокой встречи ненавидят Крюčkова. И пишут на него доносы. Не на Ягоду же.

«Оберегая больного А. М. Горького от натиска посетителей, – считает дочь Крюčkова А. П. Погожева, – его секретарь стоял между ним и армией молодых, напористых советских писателей и разнообразных просителей. Он играл роль “фильтра”, принимал “удар” на себя

и ясно осознавал, какую массу врагов он наживает. «Мне это отойдется...» – говорил он обреченно. В самом деле, и по сей день авторы статей о последних годах жизни Горького называют Крючкова «тайным агентом НКВД» и либо намекают, либо прямо говорят о его участии в убийстве Горького и сына Максима. Но на каком основании? Какие на этот счет имеются документы? Пока в архиве КГБ-ФСБ ни личного дела, ни удостоверения «агента» Крючкова никто не видел. Зато историк Шенталинский обнаружил следы «дела Крючкова», которые говорят о том, что за ним, как за Горьким, шла слежка».

«Личность, несомненно, загадочная, – пишет о Крючкове исследователь этой темы Л. Н. Смирнова, – но не потому, что загадочность была свойством его натуры, а потому, что, будучи приговоренным на процессе 1938 года к расстрелу, он был приговорен также к полному забвению. На протяжении нескольких десятилетий традиционное советское горьковедение не упоминало его имени рядом с именем Горького, – о нем даже нет сведений в четырехтомной «Летописи жизни и творчества А. М. Горького», вышедшей в 1958–1960 годах. Он был вычеркнут из жизни».

О Крючкове вспомнили только в конце 80-х годов, когда его посмертно реабилитировали. То есть де-юре признали его невиновность во всем, что ему инкриминировалось на процессе.

Но как вспомнили? «Странное дело, но именно после полной реабилитации моего отца полился поток грязи в его адрес, – пишет А. П. Погожева. – <...> На вопрос: какими документами располагают эти авторы? – они ссылаются друг на друга и пугаются, услышав, что не всех Крючковых перебили и есть еще живые родственники, которые вправе подать в суд за клевету на невинно расстрелянного».

В связи с «делом Горького» пострадал не один Крючков, но и его близкие. Смирнова приводит жуткий мартиролог семьи Крючковых. «12 марта 1938 года расстрелян П. П. Крючков (отец секретаря Горького), всю жизнь верой и правдой служивший своему Отечеству. В 1956 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 15 марта 1938 года расстрелян Петр Петрович Крючков (секретарь Горького). В 1988 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 17 сентября 1938 года расстреляна Крючкова Елизавета Захаровна, жена Петра Петровича. В 1956 году она посмертно реабилитирована за отсутствием состава преступления. После всех этих расстрелов в сумасшедшем доме умерла родная сестра Петра Петровича, Маргарита Петровна».

Даже если Крючков был виновен в гибели Максима, это был запуганный исполнитель чужой воли. Или нескольких волей. В каких бы разногласиях ни находился он с Максимом, смерть Горького никак не могла быть ему выгодной. В качестве секретаря Петр Крючков был фигурой влиятельной. После смерти Горького он превратился в обычного чиновника.

И его вскоре расстреляли...

Версий о том, с кем именно пил Максим 2 мая 1934 года и кто именно «забыл» его в парке, существует несколько. В тот день в Горках было много народу в связи с праздником. И пили с Максимом и Горьким все.

На процессе Крючков заявил, что он напоил Макса и оставил спать на открытом воздухе. Но в воспоминаниях близкой к семье Горького Алмы Кусургашевой есть другая версия этой истории.

«Максим прожил на этой земле всего тридцать шесть лет. Он умер от крупозного воспаления легких 11 мая 1934 года. Смерть его была окутана тайной, которая стала почти непрозрачной после правотроцкистского процесса. Я знаю, что обвинение в смерти Максима было предъявлено Крючкову и доктору Левину. Меня уже тогда поразила нелепость этого обвинения. На протяжении всех восьми лет моего знакомства с этой семьей я видела только теплые дружеские отношения этих людей. В те злополучные майские дни меня в Горках не было, но несколько лет спустя я узнала правду от сестры Павла Федоровича Юдина (сек-

ретарь Оргкомитета Союза советских писателей. – П. Б.) – Любови Федоровны Юдиной, с которой я дружила.

В майский праздник 1934 года на даче у Горького в Горках собралось, как всегда, много гостей... Юдин и Максим, прихватив бутылку коньяка, пошли к Москве-реке. Дом стоял на высоком берегу, для спуска к реке была построена длинная лестница, а перед лестницей симпатичный павильон – беседка. Зайдя в беседку, они выпили коньяк и, спустившись к реке, легли на берегу и заснули. Спали на земле, с которой только что сошел снег. Юдин-то был закаленный, он “моржевал”, купался в проруби, что вызывало интерес и восхищение. Максим же, прожив довольно долгое время в теплой Италии, закаленным не был. Да и вообще он не обладал крепким здоровьем. Юдин, проснувшись раньше, не стал будить Максима и пошел наверх, к гостям.

В это время из Москвы приехал П. П. Крючков, задержавшийся в городе по делам. Он встретил поднимавшегося по лестнице Юдина и спросил: “А где Макс?” Юдин ответил, что он спит на берегу. Узнав об этом, Крючков быстро сбежал по лестнице к реке. Он разбудил Макса и привел его домой. К вечеру у того поднялась высокая температура, и через несколько дней он скончался от крупозного воспаления легких. Врачи делали всё, что было возможно, но спасти его не удалось. Ведь тогда не было пенициллина...»

По этой версии, Крючков не только не убивал, но пытался спасти Максима. И если это правда, самооговор на суде был для него вдвойне мучительным.

Едва ли когда-то документально будет доказана или опровергнута версия убийства сына Горького. Документы такого сорта история предпочитает не оставлять, вынуждая нас довольствоваться слухами и собственными симпатиями и антипатиями к героям прошлого. Но мы можем точно ответить на вопрос: кто был главной причиной этих трагических событий?

Горький!

Официальная дата смерти Горького – 18 июня 1936 года. Но уже 8 июня писатель находился в состоянии, очень близком к смерти. Девять дней его *полубытия*, не считая последней ночи, когда он был без сознания, за доступ к его телу и за его последнее слово бились различные силы. Но душа «застегнутого на все пуговицы» Горького была вне их досягаемости. О чем он думал? Что вспоминал? Ведь считается, что в памяти умирающего человека проносится вся его жизнь...

## День первый: проклятие рода Кашириных

- Что, ведьма, родила зверья?!
- Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!
- Я сама на всю жизнь сирота!

*М. Горький. Детство*

### «А был ли мальчик?»

Метрическая запись в книге церкви Варвары Великомученицы, что стояла на Дворянской улице Нижнего Новгорода: «Рожден 1868 г. марта 16, а крещен 22 чисел, Алексей; родители его: Пермской губернии мещанин Максим Савватиевич Пешков и законная его жена Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершал священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Феодором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским».

Странная это была семья... И крестные у Алеши были странные. «Нижегородской губернии г. Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Ивановна Бобкова». Ни с кем из них Алеша не имел никакой связи в дальнейшем. А ведь если верить повести «Детство», и дедушка его, Василий Васильевич Каширин, и бабушка, Акулина Ивановна, с которыми ему пришлось жить до отрочества, были людьми очень религиозными.

Станным был и отец его, Максим Савватиевич Пешков. (Именно Пешков, а не Пешков. Сам Горький в повести «Детство» ставит ударение на последнем слоге.) И дед по отцу – Савватий, человек столь крутого «нрава», что в строгую эпоху Николая Первого из солдат дослужился до офицера, но был разжалован и сослан в Сибирь «за жестокое обращение с нижними чинами». К сыну своему он относился так же, и тот не раз убежал из дома. Однажды отец травил его в лесу собаками, как зайца, другой раз истязал так, что соседи отняли мальчика.

Кончилось тем, что Максима взял к себе на воспитание крестный, пермский столяр, и обучил своему ремеслу. Но то ли и там мальчишке жилось несладко, то ли бродяжничество больше нравилось ему, а только убежал он и от крестного, водил слепых по ярмаркам и, придя в Нижний Новгород, стал работать столяром в пароходстве Колчина. Был это красивый, веселый и добрый парень, чем и влюбил в себя красавицу Варвару.

Максим Пешков и Варвара Каширина обвенчались с согласия (и с помощью) одной матери невесты, Акулины Ивановны, но без согласия Василия Васильевича. Как говорили тогда в народе, женились «самокруткой». Василий Каширин был в ярости! «Детей» он не проклял, но и жить к себе до рождения внука не пускал. Только перед родами Варвары пустил их во флигель своего дома. Примирился с судьбой...

Однако именно с этого момента судьба начинает преследовать род Кашириных. Как будто появление мальчика знаменовало собой проклятие для этой семьи. Но как часто бывает в таких случаях, поначалу судьба улыбнулась им последней закатной улыбкой. Последней радостью.

Максим Пешков оказался не только талантливым мастером-обойщиком, но и натурой артистической, что было обязательным для краснодеревца. Краснодеревцы, в отличие от белодеревцев, изготавливали мебель из ценных пород древесины, производя отделку бронзой, черепахой, перламутром, пластинами поделочных пород камня, лакировку и полировку с тонированием.

Максим Пешков отошел от бродяжничества, крепко осел в Нижнем и стал там уважаемым человеком. Перед тем, как пароходство Колчина назначило его конторщиком и отправило в Астрахань, где ждали прибытия Александра Второго и сооружали к этому событию триумфальную арку, Максим успел побывать присяжным в нижегородском суде. Да и в конторщики нечестного человека не поставили бы.

В Астрахани судьба и настигла Максима и Варвару Пешковых, а с ними весь каширинский род. В июле 1871 года (по некоторым данным, в 1872 году) маленький Алеша заболел холерой и заразил отца. Мальчик выздоровел, но отец, возившийся с ним, умер, не дождав-шись рождения второго сына, названного в его честь Максимом. Максима-старшего похоронили в Астрахани. Младший Максим умер по дороге в Нижний, на пароходе, и остался лежать в саратовской земле... По прибытии Варвары домой ее братья переругались из-за приданого сестры, на которое после смерти мужа она могла претендовать. Дед Каширин был вынужден разделить с сыновьями. Так зачахло дело Кашириных.

Единственным положительным итогом этой внезапной череды несчастий было то, что через некоторое время русская и мировая литература обогатилась новым именем. Но для Алеши Пешкова приход в Божий мир был связан прежде всего с тяжелейшей душевной травмой, вскоре перешедшей в религиозную трагедию. Так началась жизнь Горького.

Сохранилось несколько документов, связанных с рождением Алексея Пешкова. Они были опубликованы в книге «Горький и его время», написанной замечательным человеком Ильей Александровичем Груздевым, прозаиком, критиком, историком литературы, членом литературной группы «Серапионовы братья», куда входили М. М. Зощенко, Вс. В. Иванов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, К. А. Федин, Н. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, М. Л. Слонимский. Последний в двадцатые годы решил стать биографом Горького, из Сорренто всячески опекавшего «серапионов». Но потом Слонимский передумал и передал «дело» Груздеву. Груздев выполнил его с добросовестностью умного и порядочного ученого.

Груздевым и энтузиастами-краеоведами были разысканы документы, которые могут считаться научно обоснованными данными о происхождении и детстве Горького. В остальном биографы вынуждены довольствоваться горьковскими воспоминаниями. Они изложены в нескольких скупых, написанных в ранние годы литературной карьеры автобиографических справках, в письмах Груздеву двадцатых-тридцатых годов (по его вежливым, но настойчивым запросам, на которые Горький отвечал хотя и ворчливо-иронически, но подробно), а также в главной «автобиографии» Горького – повести «Детство». Некоторые сведения о детстве Горького можно выудить из рассказов и повестей писателя, в том числе позднего периода его жизни. Но насколько они достоверны?

Происхождение Горького и его родственников, их социальное положение в разные годы жизни, обстоятельства их рождения и смерти подтверждаются некоторыми метрическими записями, «ревизскими сказками», документами казенных палат и другими бумагами. Однако неслучайно Груздев поместил эти бумаги в конец своей книги, в приложение. Как будто немножко спрятал.

В приложении тактичный биограф невзначай проговаривается: да, некоторые из документов «отличаются от материалов “Детства”». «Детство» Горького и детство Пешкова не одно и то же.

Повесть «Детство» написана в эмиграции. После поражения первой русской революции (1905–1907), в которой Горький принимал активное участие, он вынужден был уехать за границу, так как в России считался политическим преступником. Даже после амнистии, объявленной императором в 1913 году в связи с трехсотлетием дома Романовых, вернувшийся в Россию Горький был подвергнут следствию и суду за повесть «Мать». А в 1912–1913 годах повесть «Детство» писал на итальянском острове Капри русский политический эмигрант.

«Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жизни, – пишет Горький в “Детстве”, – я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе – стоит; ибо – это живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжелой и позорной».

Это не детский взгляд.

«И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, – русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолевает их».

Это тоже слова и мысли не Алексея, сироты, «божьего человека», а писателя и революционера Максима Горького, который одновременно раздражен результатами революции, винит в этом «рабскую» природу русского человека, но и надеется на молодость нации и верит в ее будущее.

## «Без церковного пенья, без ладана...»

Чтение повестей «Детство» и «В людях» – дело трудное, но увлекательное. В этих повестях заключен шифр ко всей биографии Горького.

Если воспринимать эти повести с некоторой степенью уважительного, но всё же скептицизма и не относиться к ним как к реальным автобиографиям, то открываются вещи удивительные и... странные. Несомненно, что сам Горький, когда писал «Детство» и «В людях», именно с уважительным недоверием смотрел на личность Алексея Пешкова и не всегда отождествлял его с собой.

Это раздвоение «я» вообще характерно для Горького. Оно проявилось уже в письме к Е. П. Волжиной, невесте, а затем жене. Это раздвоение имело как будто иронический характер: жених, естественно, слегка кокетничал перед возлюбленной. Но за этой иронией скрывалось нечто серьезное.

«Прежде всего Пешков недостаточно прост и ясен, – пишет А. М. в мае 1896 года, – он слишком убежден в том, что не похож на людей, и слишком рисуется этим, причем не похож ли он на людей на самом деле – это еще вопрос. Это может быть одной только претензией. Но эта претензия позволяет ему предъявлять к людям слишком большие требования и несколько третировать их свысока. Как будто бы умен один Пешков, а все остальные идиоты и болваны. <...> А главное – его трудно понять, ибо он сам себя совершенно не понимает. Фигура изломанная и запутанная. Помимо этих, очень крупных недостатков есть и другие, из которых одни я позабыл, другие не знаю, о третьих не хочу говорить, потому что скучно и потому, что мне жалко Пешкова – я люблю его. И только я действительно люблю его. О достоинствах этого господина я не буду говорить – ты, должно быть, лучше меня знаешь их. Но вообще – предупреждаю, и совершенно серьезно, Катя, – вообще этот человек со странностями. Иногда я склонен думать, что он своеобразно умен, но чаще думаю, что он оригинально глуп. Главное – он слишком непонятен, вот его несчастье».

Пристальное прочтение повестей «Детство» и «В людях» производит на читателя двойственное впечатление. Автор как будто сам удивлен формирующейся перед ним личностью, с недоверием изучает ее и делает для себя какие-то выводы, о которых не сообщает, а только намекает читателю. Он словно говорит: «Черт знает что это за мальчик. Но мне кажется...» Далее попадаем в густой лес знаков, символов, намеков.

На исповедь в церковь *крещеный* Алексей Пешков *впервые* попадает будучи подростком, когда работает прислугой в семье родственника своей бабушки. Как такое могло случиться? Согласно «Летописи жизни и творчества А. М. Горького», в семье В. С. Сергеева он оказался примерно в сентябре 1880 года, а сбежал от них в мае 1881-го. Следовательно, двенадцати-тринадцатилетний крещеный подросток ничего не знал о том, что такое исповедь и как совершается обряд причастия?

«Мне нравилось бывать в церквях; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас – он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы».

Когда его отправляют исповедаться к отцу Дормидонту, мальчик почему-то страшно напряжен. А когда уходит от священника, то «чувствует себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а всё вышло не страшно и даже не интересно». Когда на следующий день его с пятиалтынным для пожертвования отправляют причащаться, Алексей пропускает литургию, да еще и проигрывает деньги в «бабки». Опасаясь, что в у Сергеевых обман раскроется, Алеша спрашивает «празднично одетого паренька»:

«— Вы причащались?

— Ну, так что? — ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я».

Неужели в православной семье Кашириных ему не объяснили этого?

В одном из писем Груздеву Горький признался, что всегда был не в ладах с датами и фактами, но память на людей у него исключительная. Значит, если Горький вспомнил того паренька (кстати, он отказался рассказать о процедуре причастия), то к тому моменту Алеша действительно не знал, как происходит главнейшее из церковных таинств. Так же, как и того, что образ Богородицы не целуют в губы. Это Алеша в порыве любви сделал, когда в дом Сергеевых внесли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери из Оранского монастыря:

«Я любил Богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости — всё благое и прекрасное. И когда нужно было приложиться к ручке Ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы. Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол...»

Четыре факта — посещение церкви, исповедь, обман с причастием и целование лика Богородицы — как будто говорят о том, что в семье деда с бабушкой Алешу вообще никогда не водили в храм.

«Через несколько дней после приезда он (дед. — П. Б.) заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома».

Главы-то видны. Но, оказывается, деду и бабушке не пришло в голову, что Алешу нужно отвести исповедаться. Во всяком случае, в «Детстве» нет ни слова об этом. Сами-то супруги Каширины и их сыновья с семьями ходят в церковь исправно. «По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь», — пишет Горький. И рассказывает о фокусах с мышами и тараканами Ивана Цыганка, подкидыша и вора, который воровал для жадного на деньги деда провизию на рынке. Тараканы изображали архиерея, монахов. Но почему Алексея дед не брал с собой?

Когда братья Каширины, Яков и Михаил, согласно повести «Детство», убили Цыганка, задавив его комлем огромного креста для могилы жены Якова, дед и бабушка находились в церкви. В глазах маленького Алеши православный крест, панихида, которую служат по жене Якова, дед с бабушкой на церковном кладбище, странное поведение деда («Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток... Знаю я — он вам поперек глоток стоял...») — кричит примчавшийся из церкви дедушка) и кровь, текущая изо рта Цыганка, связываются в единый образ.

Когда семья в храме, на кухне — двое: Иван и Алеша. Первый — подкидыш. Его любят дед и бабушка. Но он — не свой. А Алексей? Вроде бы свой. Наполовину Каширин. Тем не менее его положение в доме очень напоминает положение Цыганка. Подкидыша.

Заглянем в первую известную автобиографию Горького под несколько вычурным названием «Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца». Эта автобиография обращена к некоей Адели, героине немецкого романа. Под Аделью несложно заподозрить первую любовь и гражданскую жену Горького — переводчицу О. Ю. Каменскую, ради которой, видимо, и делался этот автобиографический очерк, при жизни автора не напечатанный.

Горький рассказывает о своем детстве: «Очень не любил ходить в церковь с дедом — он, заставляя меня кланяться, всегда и очень больно толкал в шею». И в «Детстве» мельком

говорится о том, что дед заставлял Алешу ходить в церковь: в субботу на всенощную и по праздникам на литургию. Но про исповедь и причастие нет ни слова.

Значит, дед все-таки водил его в церковь. Но при этом ни разу не принуждал исповедаться и причаститься? В том же «Изложении...» говорится, что Алешу не взяли в церковь, когда его мать венчалась со своим вторым мужем Максимовым. (В «Детстве» это объясняется тем, что Алеша повредил себе заступом ногу, копая яму в саду.)

«На другой день было венчание матери с новым папой. Мне было грустно, я это прекрасно помню, и вообще с того дня в моей памяти уже почти нет пробелов. Помню, все родные шли из церкви, и я, видя их из окна, почему-то счел нужным спрятаться под диван. Теперь я готов объяснить этот поступок желанием узнать, вспомнят ли обо мне, не видя меня, но едва ли этим я руководствовался, залезая под диван. Обо мне не вспоминали долго, долго! На диване сидели новый отец и мать, комната была полна гостей, всем было весело, и все смеялись, мне тоже стало весело – и я уж хотел выползть оттуда, но как это сделать?

Но куда я раздумывал, как бы незаметно появиться среди гостей, мне стало обидно и грустно, и желание вылезть утонуло в этих чувствах. Наконец обо мне вспомнили.

– А где у нас Алексей? – спросила бабушка.

– Набегался и спит где ни то в углу, – хладнокровно отвечала мать.

Я помню, что она сказала это именно хладнокровно, я так жадно ждал, что именно она скажет, и не могу не помнить...»

Первые церковные воспоминания Горького связаны с детскими травмами. Буквальными (дедушка толкал в шею) и душевными (вся родня пошла в церковь на венчание Варвары, затем сели за стол, а про мальчика забыли).

Не сложились у него отношения и со школьным священником. Единственным светлым пятном в воспоминаниях о школе был приезд епископа Астраханского и Нижегородского Хрисанфа (В. Н. Ретивцев, 1832–1883), известного духовного писателя, автора трехтомного труда «Религия древнего мира в его отношении к христианству» (СПб., 1872–1878). Хрисанф обладал умным внутренним зрением на людей. Он выделил Алексея из класса, долго расспрашивал его, удивлялся его знаниям в области житий и Псалтыри и, наконец, попросил его не «озорничать». Однако просьбу владыки Алеша не выполнил. Однажды он назвал деду изрезал его любимые святцы, отстригая ножницами головы святым.

Как сказали бы сегодня, это был трудный подросток.

## «Сеяли семя в непахану землю»

Эти слова произносит дедушка на похоронах Коли, сводного брата Алеши. Варвара уже сгорела от чахотки. Саша, другой сын от второго мужа Варвары, «личного дворянина» Евгения Васильевича Максимова, «умер неожиданно, не хвораю», едва начал говорить. Был и еще какой-то загадочный ребенок, рожденный Варварой между двумя браками и отданный на воспитание. Вот и братик Коля «незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас».

Как странно... Все дети красавицы Варвары, кроме нелюбимого ею Алексея, умирали, угасали, исчезали, словно тени.

Один Алексей жил.

Как будто ей назло.

Иногда появляясь в доме родителей, Варвара удивлялась, как Алеша быстро растет. Это говорит о том, что появлялась она нечасто.

О каком «семени» шла речь? Почему смерть внука воспринимается дедом Кашириным равнодушно? Словно умер не родной человек, а сдохла больная курица?

«— Вот — родили... жил... ел... ни то ни се...» — бормочет дед.

Не менее странным, если задуматься, является всем знакомый конец «Детства»:

«Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

— Ну, Ляксей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...»

Иначе говоря, мальчишку выставляют за дверь через несколько дней после того, как умерла его мать и он стал круглым сиротой. Больше того. Отказ Алексею от дома как раз и вызван кончиной его матери.

Почему?

Да потому что со смертью Варвары рвется последняя нить, которая связывала деда Каширина с Алешей Пешковым родственной ответственностью. Отныне он в глазах дедушки даже не «пол-Каширина», а чистый Пешков, сын человека без роду и племени. Ради дочери, которая после смерти первого мужа должна была как-то устраивать свою женскую судьбу, в чем мальчик ей мешал, дед Каширин еще мог потерпеть маленького Пешкова в своем доме. Но по мере разорения Кашириных Алеша становился совсем уж обузой. Смерть дочери развязала Василию Васильевичу руки.

Василий Васильевич Каширин прожил долгую и насыщенную жизнь. Он родился в 1807 году в Нижегородской губернии в семье солдата Василия Даниловича Каширина, был крещен в Покровской церкви в Нижнем Новгороде, а в 1831 году в том же городе, но уже в Спасо-Преображенской церкви, венчался с девицей Акулиной Ивановной, дочерью нижегородского мещанина Ивана Яковлевича Муратова.

Когда-то он бурлаком исходил всю Волгу. Врожденный ум его был замечен хозяином, и из бурлаков его перевели в водоливы. Водолив — старший рабочий на барке, который должен следить за их водосточностью и плотничать при необходимости, старшина над бурлаками. Он также исполнял обязанности «артельщика», следил за хозяйством, хранением артельных денег, выдачей кашевару продуктов. Такому человеку должны были доверять не только хозяин, но и бурлаки.

На основании документов Илья Груздев сделал вывод, что в Балахне Василий Васильевич «приобрел хорошую “оседлость”» и был в числе зажиточных граждан. Будущая бабка Алеши Пешкова Акулина была младше Василия на шесть лет.

Переселившись в Нижний Новгород, уже довольно большая семья Кашириных зажила не бедно. В данных «Обывательской книги Нижегородского цехового общества с 1855 года по 1857 год» о Василии Каширине говорится: «Служил старшиной по красильному цеху в 1849 и 1855 годах». Купчая от 14 января 1852 года на приобретение деревянного дома

подтверждает его состоятельность. А в «Списке цеховых служащих по выборам городского общества» сказано: «По выбору городского общества служил: в 1855, 1856 и 1857 годах старшиной красильного цеха и в 1861, 1862 и 1863 годах гласным в Думе». Дума состояла из шести гласных. Одним из них стал Каширин.

Вершиной благополучия каширинского рода была постройка в 1865 году большого деревянного дома на каменном фундаменте на Ковалихинской улице. Это было за три года до рождения Алеши.

Василий Васильевич Каширин был уважаемым в Нижнем человеком. Два или три раза переизбирался цеховым старшиной и даже метил в ремесленные головы (не избрали, чем смертельно обидели гордого деда Василия). Поднявшись со дна трудовой жизни, он мечтал еще больше возвысить род Кашириных. Сыновья для этой роли не совсем годились. Братья слишком часто выпивали, скандалили между собой за наследство и дрались на глазах у отца. А вот красавица дочь Варвара, да еще и с хорошим приданым, могла претендовать на мужа-дворянина.

Однако умер Василий Васильевич Каширин нищим в 1887 году и был погребен на приходском нижегородском кладбище. Неудачными оказались судьбы почти всех его детей и внуков. И жены, о которой будет отдельный разговор.

Дядя Алеши Михаил был, как писал Горький Груздеву, «тощий, сухой плоти и раздраженного разума человек». Бабушка называла его «злооким». «Эх ты, змей злоокий! Кики-мора злоокая!»

«Глаза у него круглые, птичьи, белки – в красных жилках, зрачки рыжеватые, с искрой. Ходил быстренько, мелким шагом, раскачиваясь, болтая руками, сутулился, прятал голову в плечи – так пьяные идут в драку. Работу не любил и работал всегда в состоянии крайнего раздражения, со злобой, бегал по двору, засучив рукава, с руками по локти в синей, черной или желтой краске, и матерно ругался.

Работа не удавалась ему, и толстущая его жена зорко следила, чтоб не испортил материй, которые красил, а он ходил на нее с мешалкой как со штыком. Был случай, когда она, вырвав мешалку, огрела мужа так, что он завыл: “Господи! Из-ззувечила!”

У него всегда были любимые словечки, но он часто менял их. Помню, любил он говорить: “По-азбучному”, наполняя это слово различным содержанием, произнося его то с иронией, то пренебрежительно или равнодушно, изредка – одобрительно.

Как-то, при мне, он словесно и очень долго травил сына своего, кротчайшего Сашу, – у Саши был трогательный роман с кухаркой, женщиной старше его лет на двадцать. Сашок очень долго не поддавался травле, но когда отец пошел на него с кулаками, оттолкнул отца: “Отстань, пьяное чудище!” Дядя покачулся, упал и, сидя на полу, одобрительно произнес: “Поазбучному!” – и горько заплакал, но когда Саша, смущенный его рыданиями, наклонился, чтоб поднять его, отец ловко схватил его за волосы, подмял под себя, сел верхом на грудь ему и победительно, торжествуя, заорал: “Аг-га, по-азбучному!”

Меня дядя Михаил не терпел, пожалуй, можно сказать, – ненавидел. Дважды выразил искреннее сожаление о том, что не разбил мне голову о печку.

Я не имею возможности хвастаться этим, ибо он, кажется, всех ненавидел. Теперь я думаю, что он, кроме алкоголизма, страдал истерией. А основная причина всех его уродств, конечно, в том, что он, старший сын ремесленного старшины, в юности приученный к сытой жизни и хорошей одежде, затем женатый на дворянке, принужден был жить с толстой, удивительно тупой и грубой бабой, дочерью темного трактирщика, должен был сам работать в крайней бедности, в постоянной войне с братом, отцом, конкурентами по ремеслу. Тяжелая фигура. Но и жизнь была не легка ему».

Ничего из этих живых черт дяди Михаила мы не найдем в прозе Горького. Видимо, когда писались повести «Детство» и «В людях», они были не важны для него.

Сын Михаила Каширина Саша стал босяком и пьяницей, трижды судимым за кражи, но при этом романтиком по природе. Горький писал о нем Груздеву: «Прекрасная, чистейшая душа русского романтика, лирик, музыкант и любитель – страстный – музыки... Он очень любил меня, но читал неохотно и спрашивал с недоумением: “Зачем ты всё о страшном пишешь?” Его жизнь бродяги, босяка не казалась ему страшной... Несколько раз я пробовал устроить Сашу, одевал его, находил работу, но он быстро пропивал всё и, являясь ко мне полуголый, говорил: “Не могу, Алеша, неловко мне перед товарищами”. Товарищи – закоренелые босяки. Устроил я его у графа Милютина в Симеизе очень хорошо... Через пять месяцев он пришел ко мне: “Не могу, – говорит, – жить без Волги”. И это у него не слова были, он мог целые дни сидеть на берегу, голодный, глядя, как течет вода. <...> Босяки очень любили его и, конечно, раздевали догола, когда он являлся к ним прилично одетый и с деньгами. Умер он в больнице от тифа, когда я жил в Италии».

Из писем к Груздеву выясняется, что не только Михаил, но и его младший брат Яков тоже был женат на обедневшей дворянке. Это была семейная политика Василия Каширина, стремившегося таким образом возвысить свой род.

Мать второго двоюродного брата Алеши, тоже Саши, жена дяди Якова, умерла, когда их сыну было всего пять или шесть лет. В повести «Детство» есть намек на то, что Яков ее замучил. Умирая, она внушала сыну: «Помни, что в тебе течет дворянская кровь!» Судя по «Детству», дядя Яков пытался отмолить свой грех с помощью огромного креста на могилу жены, который при перенесении его на кладбище якобы и задавил приемыша Ваню Цыганка.

На самом деле вся история с убийством Цыганка была придумана Горьким. В письме к Груздеву дядя Яков предстает в более симпатичном образе, в отличие от его сына с «голубой кровью» Саши.

«Дядю Якова Сашка держал в черном теле, называл по фамилии, помыкал им, как лакеем, заставлял чахоточного старика ставить самовар, мыть пол, колоть дрова, топить печь и т. д. Отец же любил его, “души в нем не чаял”, смотрел на человека с дворянской кровью в жилах лирическими глазами, глаза точили мелкую серую слезу; толкал меня дядя Яков локотком и шептал мне:

– Саша-то, а Бар-рон...

Барон суховато покашливал, приказывая отцу:

– Каширин, ты что же, брат, забыл про самовар?»

Не этот ли Барон, который, по словам Сатина, «хуже всех» в ночлежке, появится в пьесе «На дне»? Во всяком случае, пристрастие дяди Михаила к необычным словам («По-азбучному!») Горький использовал для образа Сатина («Сикамбр!», «Органон!»), в чем признался в письме к Груздеву. Но опять-таки этих живых черт почти нет в «Детстве» и в повести «В людях». Нет там речи и о том, что Саша, будучи помощником регента церковного хора, пытался носить дворянскую фуражку, но ему это запретила полиция. Не сказано там, что Саша прекрасно пел и был вторым тенором в знаменитом церковном хоре Сергея Рукавишникова. Потом он работал «сидельцем» в винной лавке, просчитался, был судим, пытался организовать «Бюро похоронных процессий».

Зато в автобиографической трилогии Горького есть множество подробностей, не имеющих отношения к «прозе жизни». Например, в начале повести «В людях» говорится о влечении сына Якова Саши к магическим обрядам, что заставляет вспомнить слова деда, обращенные к младшему сыну: «Фармазон!» В самом ли деле суеверный Яков увлекался франкмасонскими книгами? Едва ли. Скорее, дед Василий называл его «фармазоном» просто потому, что так было принято именовать вольнодумцев в России.

«Саша прошел за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгреб руками кучу листьев – обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он

приподнял их – под ними оказался кусок кровельного железа, под железом – квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дыру и сказал мне:

– Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, – корень служил пещере сводом, – в глубине ее Саша зажег три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиной как внутренность ведра, но шире, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нем лежал медный нательный крест, а вокруг аналая горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет» («В людях»).

На детском языке такие захоронки называются «секретками». Невинная традиция эта сохранилась, по крайней мере, до 60-х годов XX века. Но тогда в «секретки» не прятали мертвых птиц. Даже если похожая традиция и была у детей XIX века, всё равно загадочными представляются слова Саши после того, как Алексей выбросил воробья через забор на улицу:

«– Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это я всё нарочно сделал для тебя, это – колдовство! Ага!»

На следующий день Алексей опрокинул себе на руки судок с кипящими щами и попал в больницу. Как тут не вспомнить «фармазона» и слова мастера Григория о Якове, сказанные Алексею:

«– Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, – понял? Тебе всё надо понимать, гляди, а то пропадешь!

– Как забил? – говорил он, не торопясь. – А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает и бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает. <...>

– Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со свету сживали. Она всё скажет – она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за нее крепко».

Насколько не похож этот образ дяди Якова на тот, что возник в письме к Груздеву. И это не единичный пример. В повести «Детство» и отчасти «В людях» Горький мифологизировал семейные линии Кашириных и Пешковых. И хотя в семье Кашириных он почти никому был не нужен, в тягость, в мифологическом пространстве все сражались как раз за его душу.

Чья сила перетянет? Деда? Бабушки? Или кровь отца?

Братья Каширины ссорятся из-за приданого вдовы Варвары. Но ведь изначальной причиной ее вдовства был Алексей. Свара ведет к разделу между отцом и детьми. В результате, раздробив «дело» и став конкурентами, они разоряются и впадают в нищету.

Отношение дедушки к Алеше сложное. Он жестоко избивает его, до полусмерти, а потом приходит к нему исповедоваться. И он не может понять: *кто* Алексей – Каширин или Пешков? Вот их первая встреча на палубе парохода:

«Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

– Ты чей таков будешь?

– Астраханский, из каюты...

– Чего он говорит? – обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

– Скулы-те отцовы...»

Потом дед будет не раз «придвигать» и «отодвигать» Алешу, пытаясь разобраться, *чей* он. Дядя же невзлюбят его за то, что в доме появился еще один наследник. И всё это – травля Алексея Кашириными, гибель любимого Цыганка, отлучение от дома самого Алексея – в конце концов завершается крахом каширинской семьи.

«Сеяли семя в непахану землю».

Первопричиной этого краха стали незаконный, без согласия отца, брак дочери Варвары с пришлым мастеровым Максимом Пешковым и появление в доме Алеши Пешкова. Инстинктивно Каширины чувствовали это и, за исключением бабушки Акулины, не любили мальчика. Даже родная мать. Хотя она понимала, что Алеша не виноват. Но сердцу не прикажешь. Со временем он стал понимать это... И заплатил родне той же монетой.

Нет ничего страшнее, чем лишить ребенка любви. Его разум однажды начинает делать свои *горькие* выводы об *этом* мире, *этих* людях, *этом* Боге.

## Бабушка Акулина

А что же Акулина Ивановна? Разве она не любила Алексея? Любила! Но она не Каширина. Она Муратова. Она добрая. Она святая. За нее советует держаться мастер Григорий.

Мифологию образа бабушки Горький прописывал с особой любовью. Ничего более нежного и поэтичного, чем этот образ, он не создал ни до, ни после повести «Детство». И если бы, кроме этой повести, он не написал ничего, мировая литература всё равно пополнилась бы великим писателем.

В ее внешности было что-то темное, языческое. Недаром в своей семье ее называли ведьмой.

«— Что, ведьма, родила зверья?!»

Это кричит Василий Каширин после безобразной потасовки Якова и Михаила прямо во время обеда. Можно не обратить внимания на этот странный крик дедушки и принять его просто за бессмысленную брань раздраженного главы семейства. Но в «Детстве» почти нет случайностей. Почему дед Василий именно собственную супругу обвиняет в начале распада семьи? Только ли потому, что она «потатчица» и выступает за раздел имущества Кашириных между детьми? Но причем тут «ведьма» и «зверье»? Вот еще одна загадка «Детства»...

Зададим простой вопрос: каким образом в семье хотя и скуповатого, но честного, трезвого, трудолюбивого и богобоязненного Василия Каширина родились такие непутевые дети? Пьющие, дерущиеся между собой братья Яков и Михаил. Непослушная и недомовитая Варвара, которая бросает ребенка в семье родителей и живет как ветер в поле.

«Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них, — жалуется дедушка. — Куда соксила наша пошла? Мы с тобой думали, — в лукошко кладем, а Господь-то вложил в руки нам худое решето...» И снова он винит мать: «А все ты потакала им, татям, потатчица! Ты, ведьма!»

Если смотреть на бабушку глазами Алеши, она поистине свет в окне, сердце мира, чуть ли не земная богородица. И это понятно. Бабушка для Алеши, если можно так выразиться, единственный «теплый» человек, которого коснулась его детская, но уже травмированная душа. Это спасение в холодном безлюбовном мире, где мальчик с самого начала обречен на гибель. С первых мгновений детского самосознания вокруг него трупы, трупы и трупы. Холод, холод и холод. Мертвый отец в гробу. Мертвый младший брат. И даже мать выглядит как мертвая.

«Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас (Алексея и бабушки Акулины Ивановны. — П. Б.). Она всё молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос, — вся она мощная и твердая...»

Одно из первых жизненных впечатлений: «В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами».

«Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, — две уже взобрались на желтую крышку гроба. У могилы — я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер...

— Зарывай, — сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно».

В «Детстве» всё пронизано символикой. На гробе отца две лягушки, обреченные на смерть. Алеша еще раз вспоминает о них на борту парохода, когда из каюты несут гробик с младшим братом. Алексей рассказывает об этих несчастных лягушках матросу, а матрос говорит ему:

– Лягушек жалеть не надо, Господь с ними! Мать пожалей, – вон как ее горе ушибло!

Отца, братика и лягушек «прибрал» Господь. Потом он «приберет» к себе мать, брата Колю и отчима. Алеша останется на земле только благодаря бабушке: «...сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, – это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, *насытив крепкой силой для трудной жизни* (курсив мой. – П. Б.)».

Бабушка заменяет Алеше мать, становится для него единственной опорой в мире, где Бог бросил его на произвол судьбы. Ничего странного, что этот Бог, «Бог дедушки», не нравится Алексею.

Мальчик чувствует Его присутствие в мире, но обижен на Него. Сознательно или нет, Горький обыгрывает в «Детстве» слова Ивана Карамазова о «слезинке ребенка», из-за которой Иван готов «почтительно» возратить Творцу билет в Царство Небесное. Только в «Детстве» ребенок не пассивный персонаж. Подобно третьей лягушке, он брошен, но не в могилу с водой, а в кувшин со сметаной, как в народной притче, и должен месить окружающее его холодное пространство, пока оно не превратится в масло и не позволит ему выбраться наружу.

Но хватит ли сил?

Сила идет от бабушки.

Она «как земля».

Такова мифология образа бабушки.

Но какова была Акулина Ивановна в реальности?

Она была... пьяница.

В «Детстве» и «В людях» Горький предельно бережно касается этой больной темы. Но и скрыть очевидного для семьи Кашириных факта он не может.

Для Алеши бабушка сродни Божьему явлению. Но Варвара стыдится собственной матери, которая на пароходе бродит «от борта к борту и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены», потому что бабушка не смущается угощаться у матросов водкой, за что рассказывает им разные смешные небылицы. Матросы хохочут, и Алексею весело. Но Варвара сердится:

«– Смеются люди над вами, мамаша!

– А Господь с ними...»

Только что Господь был с лягушками. Но для Алеши бог един – и это бабушка. Настоящий Бог обидел его. Всё страшно и абсурдно, как лягушки в могиле. Алеша жмет к бабушке. Но в глазах-то остальных, даже дочери, это просто добрая, смешная, шалопутная пьянчужка, непутевая бабка с рыхлым, распухшим от пьянства красным носом.

Бабушки стыдится не только дочь.

Странно! Когда Василий Каширин, цеховой старшина, уважаемый в Нижнем Новгороде человек, уходит к кому-то в гости, законную супругу он с собой не берет. Почему?

«...В праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его;

волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгений, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов».

Есть в музыке понятие контрапункта, когда одна мелодия вступает в конфликт с другой и рождается музыкальный эффект. Этот образ из «Детства» построен по принципу контрапункта. Фраза начинается в одной тональности, затем на нее накладывается другая. И взрывает гармонию.

С уходом деда, с его жестоким, но понятным Богом, в доме Кашириных начинается русское непонятное, «дионисийское» действо.

Водка размягчает сердце русского человека. Дядя Яков поет жалостливые песни, такие, что Алеша плачет «в невыносимой тоске», а Цыганок весело, ухарски пляшет, «неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...»

Все эти лица еще индивидуальны. Куда более смутными видятся мастер Григорий, нянька Евгений и «волосатый успенский дьячок». Но остальные, «какие-то темные, скользкие люди», уже вовсе неразличимы, а только похожи на «щук и налимов». Между тем они тоже составляют окружение бабушки. Это ее мир, ее омут, в который она непременно утянет за собой Алешу, как ведьма утащила Иванушку в русской сказке. Если Алеша останется верен своему богу.

Ценой убийства в себе этого доброго и очень *русского* бога Алеша Пешков станет *Максимом Горьким*.

Когда Горький писал «Детство», «В людях» и «Мои университеты», он это прекрасно понимал. Тем более что уже в 1895 году в «Самарской газете» он опубликовал первый набросок к будущему «Детству» (изначально повесть замысливалась под названием «Бабушка»). Очерк «Бабушка Акулина» Горький благоразумно не включал в свои сборники и собрания сочинений. Как бы похоронил в прошлом образ реальной Акулины Ивановны, чтобы затем воскресить его в мифе Бабушки.

В очерке «Бабушка Акулина» рассказывается о старухе, которая живет в сыром подвале, собирая вокруг себя городскую шваль, отходы человеческого общества, больных алкоголизмом и распущенных до такой степени, что они не стесняются жить за счет нищей старухи.

«Бабушка Акулина была филантропкой Задней Мокрой улицы. Она собирала милостыню, а в виде подсобного промысла, иногда, при удобном случае, немножко воровала. Около нее всегда ютилось человек пятьдесят “внучат”, и она всегда ухитрялась всех их напоить и накормить. “Внучатами” являлись самые отчаянные пропойцы-босяки, воры и проститутки, временно, по разным причинам, лишенные возможности заниматься своим ремеслом. <...> Вся улица знала ее, и слава о ней выходила далеко за пределы улицы. Но все-таки, на языке босых и загнанных людей, “попасть во внучата” значило дойти до самого печального положения; поэтому бабушка Акулина как бы знаменовала собой крайнюю ступень неудобств жизни и, пользуясь большой известностью за свою филантропическую деятельность, не пользовалась любовью со стороны опекаемых ею людей».

Вот куда утащил бы Алексея этот добренький русский бог, если бы он прислушался к совету тоже доброго, но полуслепого (что символично!) мастера Григория держаться бабушки.

«Мои университеты», отплытие Алеши в Казань:

«Провожая меня, бабушка советовала:

– Ты не сердись на людей, ты сердишься всё, строг и заносчив стал! Это – от деда у тебя, а что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты одно помни: не Бог людей судит, это – черту лестно! Прощай, ну!»

«За последнее время, – признается Горький, – я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне».

В сердце Кая благодаря слезам Герды тает льдинка Снежной королевы. Алеша Пешков, напротив, с болью вырывает из сердца теплого бога, зная, что с этим богом он пропадет и «Бог дедушки» надежнее. Беда в том, что он не любит дедушкиного Бога и не понимает Его.

Через некоторое время он попытается создать нового бога. Его имя будет Человек. Но даже гуманист Владимир Короленко смутится, прочитав поэму Горького с одноименным названием. Это был ледяной образ Человека, одиноко шествующего во Вселенной. Через десять лет Горький вспомнит о теплом боге – бабушке и поэтично воскресит ее в «Детстве». Но убийство в себе самом живого бога не пройдет для него бесследно.

В начале девяностых годов Горький еще не понимал этого. В очерке «Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца» (1893) бабушка Акулина названа просто «бабкой», и никакой идеализации ее нет: «Пила она сильно и однажды чуть не умерла от этого. Помню, как ее отливали водой, а она лежала в постели с синим лицом и бессмысленно раскрытыми, страшными, тусклыми глазами».

Сравните это с началом «Детства»: «...вся сияет, а глаза у нее радостно расширены...» У бабушки не было своего бога.

Да и откуда было ему взяться у неграмотной старухи, когда-то вышедшей замуж за грамотного «по-церковному» Василия Каширина? Илья Груздев считает, что замуж она вышла четырнадцати лет от роду, а в одном из писем к Груздеву Горький сообщает: «Бабушка Акулина никогда не рассказывала о своем отце; мое впечатление: она была сиротой. Возможно – внебрачной, на что указывает “бобыльство” ее матери и раннее нищенство самой бабушки...»

Что означает «раннее нищенство»? Четырнадцатилетняя Акулина Муратова была профессиональной нищенкой? «Хорошо было Христа ради жить!» – рассказывает она Алексею о своем прошлом.

Так или иначе, но ее поведение совсем не отвечает поведению супруги цехового старшины, гласного Городской думы. И ее влияние на детей, о котором с горечью кричит дед Василий, тоже. Зато истинно русская, «мощная» красота дочери Варвары, у которой «прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки», тяжелые светлые волосы и свободолобивый нрав, говорит о том, что эти черты достались ей не от «сухого», «с птичьим носом» Василия, книжника и начетчика, а от матери-«ведьмы», Акулины Ивановны.

Бабушка странно молится. Именно этим объясняется то, что в доме Сергеевых Алексей вдруг целует образ Богородицы в губы.

«Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

– Наведи-ко ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делать!»

Поначалу можно подумать, что у бабушки какой-то *свой* бог. Но дальнейшая ее молитва говорит о том, что это просто невинное обращение доброй неграмотной старухи к Богу, где личные семейные просьбы перемешаны с обрывками канонической молитвы.

«Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

– Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она Тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомни, Господи, Григо-

рья, – глаза-то у него всё хуже. Ослепнет, – по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О Господи, Господи!»

«– Что еще? – вслух вспоминает она, приморщив брови. – Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру, окаянную, прости. – Ты знаешь: не со зла грешу...»

«– Всё Ты, родимый, знаешь, всё Тебе, батюшка, ведомо».

В этой бесхитростной молитве неграмотной старухи только строгий начетчик, вроде дедушки Василия, заподозрит ересь.

Совсем иное – молитвы бабушки, обращенные к Богородице.

«Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божьей Матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:

– Богородица Преславная, подай милости Твоя на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала всё горячее и умиленнее:

– Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.

– Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, Мати Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!»

Дедушка злится, слыша все это:

«– Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты всё свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя Господь! <...> Чуваша проклятая!»

Вот еще одно объяснение странной религии бабушки. «Чуваша!» Языческая кровь бродит в ней и в ее детях, взрывая когда-то насильно привитое ее народу христианство. Культ Богородицы, плодоносящей силы, ближе ей, чем суровый Бог деда Василия. Да она просто и не понимает Бога как первооснову мироздания. Кто Его-то родил? Понятное дело, Богородица! Бого-родица.

Она язычница чистой воды. Восприняв от христианства идею милосердия, она так и не стала церковной христианкой в строгом смысле. И вот это нравится Алексею! Не столько идея милосердия, сколько подмена Бога Богородицей, Матерью мира, а значит и его матерью! Вот почему он целовал Богородицу в губы.

Но это, в конце концов, означало страшное. Отодвигая от себя бабушку, теплого бога, убивая этого бога, он убивал в себе Мать и такой ценой становился самостоятельным человеком. О да, эта дорогая «могила» всегда оставалась в его душе! Она питала его творчество, причем лучшие его стороны. Но «отсохшие», по его выражению, части сердца были невозстановимы. Отправляясь в Казань, Пешков заключал договор с новым богом, упрямым и жестокосердным. И этот бог был ближе к «Богу дедушки», как понимал его Алексей.

«...отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у нее было строгое, сердитое лицо, от этого я заплакал сильнее. Бабушка да ла мне крендель, а мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. *Всё об отце* (курсив мой. – П. Б.). Мало. Я бы, наверное, больше оставил моим детям и уж во всяком случае не забыл извиниться перед ними в том, что они обязаны существовать по моей вине (наполовину, по крайней мере). Это обязанность каждого порядочного отца, прямая обязанность...» («Изложение фактов и дум...»)

Став невольным отцеубийцей (заразив отца холерой), маленький Алеша лишился не только отца, но и матери.

«Я лежал в саду в своей яме (снова яма! – П. Б.), а она гуляла по дорожке невдалеке от меня со своей подругой, женой одного офицера.

– Мой грех перед Богом, – говорила она, – но Алексея я не могу любить. Разве не от него заразился холерой Максим <...> и не он связал меня теперь по рукам и по ногам? Не будь его – я бы жила! А с такой колодкой на ноге недалеко упрыгаешь!..»

«Колодка на ноге»... «Женщинам, имеющим намерение наслаждаться жизнью, – жестоко замечает Горький, – ничем не связывая себя, следует травить своих детей еще во чреве, в первые моменты их существования, а то даже для женщин нечестно, сорвав с жизни цветы удовольствия, отплатить ей за это [одним или двумя существами, подобными мне] ...» («Изложение...»)

Сколько же «могил» было в сердце этого юноши, когда он отправлялся на пароходе в Казань, оставляя погибать проклятый каширинский род! Он так и не нашел живого человека, который поселился бы в его душе, где не оказалось места ни Богу, ни отцу, ни матери. Единственным человеком, кто мог бы претендовать на это вакантное место, была его бабушка...

Зимой 1887 года, побираясь Христа ради, она упала, разбилась на церковной паперти и скончалась от «антонова огня». На ее могиле безутешно рыдал нищий, потерявший всё свое состояние дедушка. Алексей узнал об этом через семь недель после похорон.

## День второй: сирота казанская

*Физически я родился в Нижнем Новгороде. Но духовно – в Казани.  
Из беседы М. Горького с Н. Шебуевым*

*Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел  
во мне за последнее время.  
Из предсмертной записки Алексея Пешкова*

## То «люди», а то «человеки»

Отправляя Алексея во внешний мир, дед отпочковывал его от семьи. Смысл был такой: ступай «в люди» и стань человеком. Вот как я, Василий Каширин, из бурлаков, из этой серой и неразличимой массы, выбился в заметного человека, цехового старшину, так и ты (черт тебя разберет, кто ты такой – Пешков или Каширин?) потришь «в людях» и стань человеком.

Однако дед не мог предполагать, что Алешино понимание отличия «людей» от «человеков» зайдет столь далеко. Внук попытается создать *свою* религию, в которой Человек (как духовное существо) не только не будет совпадать с людьми (как природной и социальной средой), но окажется в жестокой войне с ними.

Однажды, уже отходя от доброй религии бабушки и больше прислушиваясь к дедовым рассуждениям о «людях» и «человеках», Алексей приходит к мысли, которая навсегда определит его духовную судьбу: «Человеку мешают жить, как он хочет, две силы – Бог и люди» («В людях»).

В «Детстве» он сводил счеты с обидевшим его Богом, непочтительно возвратив Ему право несчастного сироты на Небесное Царство. Бог изгнан из души его. Даже добрый (слишком добрый для этого жестокого мира) бог бабушки. Тем более что, обладая цепким умом деда, он быстро понял, что нет этого доброго бога вовсе. Есть бабушка Акулина, жалостливая старуха, «мать всем», отзывчивая, большая и щедрая, «как земля». Зато Бог дедушки, Бог настоящий, Творец и Судия сущего, Он есть! И этот Бог обидел Алексея! Он еще не осмыслил всей обиды до конца, не претворил ее в свою «правду». Алеша не знает, что в далекой Германии «базельский мудрец» Фридрих Ницше уже готов обмакнуть перо в чернила и вывести слова: «Бог умер».

«Прочь с таким Богом! Лучше без Бога! Лучше на свой риск и страх устраивать судьбу!» (Ницше).

Он еще не переосмыслил на свой лад библейскую книгу Иова. Через много лет Горький напишет В. В. Розанову: «Любимая книга моя – книга Иова, всегда читаю ее с величайшим волнением, а особенно 40-ю главу, где Бог поучает человека, как ему быть богоравным и как *спокойно* встать рядом с Богом».

Но Иовом, которого за что-то наказал несправедливый Бог, он почувствовал себя слишком рано. Только в отличие от Иова Горький доведет свой бунт до конца. Если Господь бросил людей на произвол дьявола, что ж, отвернемся от Него, «встав рядом». Да ведь Он Сам, создав для человека ужасные условия бытия, обидев человека по всем статьям и сделав его игрушкой дьявола, намекает на это. Изгнал из рая? Построим свой!

Эти гордые мысли смутно носятся в голове Алексея. Там царит мешанина, путаница из чужих идей и верований. Но одно он начинает понимать с горечью: главный враг человеку не Бог, а люди! «В наше время ужасно много людей, только нет Человека», – заявит он в одном из ранних писем.

Отправляясь в Казань, Алексей оставлял «мертвым хоронить своих мертвецов». Это решение нелегко далось ему. Как больно стало этому физически сильному, но угловатому и некрасивому подростку, когда из Нижнего Новгорода пришло неграмотное, без запятых, письмо от двоюродного брата Саши, где было сказано о смерти бабушки:

«Схоронили ее на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал нас прогнал а сам остался на могиле мы смотрели из кустов как он плакал тоже скоро помрет».

Алеша не заплакал...

Но «точно ледяным ветром охватило» его.

К тому времени Алеша работал в булочной Андрея Деренкова, все доходы от которой шли на кружки самообразования и поддержку народнического движения в Казани. Деренков был старше Алексея на десять лет, подружился с подручным своего пекаря и частенько оставлял его ночевать у себя. «...Мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружеским шепотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампы (отец Деренкова был набожным. – П. В.)». Алексей был почти влюблен в сестру Андрея, Марью Деренкову. В Казани прямой и общительный Алексей Пешков быстро познакомился не только со студентами, но и с ворами, босяками, пекарями, крючниками, фабричными.

Однако о смерти бабушки, самого дорогого ему человека, некому было сказать. Некому было выплакаться.

Но почему было не рассказать Деренкову?

«С тихой радостью верующего он говорил мне:

– Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь...»

Но того, что рядом с ним, «на войлоках», беззвучно кричала и корчилась больная одинокая душа, Деренков не замечал? Или Алексей не позволял этого видеть?

Почему не поговорил с Марьей? Наконец, не отправился на берег Волги или Казанки к нищим и босякам, не выпил с ними водки на помин души, не высказал им свое горе. Они бы его поняли. Бабушка Акулина была из их среды.

«Не было около меня ни лошади, ни собаки, и что я не догадался поделиться горем с крысами?» – с отчаянием пишет он.

Отъезд в Казань был своего рода сжиганием мостов между Алешей Пешковым и Кашириными. Как ни обижали его в этой сложной семье, но личность его во многом сформировалась благодаря деду и бабушке Кашириным. Письмо Саши потревожило эти сердечные «могилы». Но рассказать об этом кому-либо он не мог. Простой народишко на Волге понял бы его. О, конечно! Наверное, поняли бы его и студенты, и Деренков, и Марья. Поняли бы и пожалели. Как обидела юношу судьба! Бедный ты наш!

Но в том-то и дело, что он не хотел не только жалости, но и *понимания*. Жалости не хотел, потому что «строг и заносчив стал». А понимания?

Во-первых, он сам себя не понимал. Во-вторых, как раз понимания со стороны «людей» он инстинктивно не желал. Понять – значит сделать своим. Но своим его не удалось сделать даже бабушке. Даже ей он не позволил оформить свою душу, а тем более разум. Как же позволить сделать себя «своим» ворами и грузчикам? Добряку Деренкову? Или Марье?

Да он только что выбрался из «людей»! Выломился из этой среды. Его не смогли сделать своим ни мастера-богомазы в иконописной мастерской, ни повара и матросы на пароходе «Добрый», где Алеша работал посудником. Все проиграли сражение за его душу. Даже повар Смурый...

## Колдун с сундуком

Но существовал ли гвардии отставной унтер-офицер Михаил Акимович Смурый? Может, не было его?

Горький пишет о Смуре в заметке 1897 года: «Он возбудил во мне интерес к чтению книг. У Смурога был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккартгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф – с томом “Современника”, тут же была “Искра” за 1864 год, “Камень веры” и книжки на украинском языке».

В «Биографии», написанной несколько ранее, в 1893 году, на что обращает внимание исследователь жизни Горького Лидия Спиридонова, повара Смурога нет и в помине. «Для чтения книги покупались мной на базаре», – пишет Горький о жизни на пароходе. И ни словечка о «сундучке». Вместо Смурога упоминается старший повар Потап Андреев, который сажал мальчика на колени, выслушивал его рассказы (жизненные или вычитанные из книг?) и говорил: «Чудашиноватый ты парень будешь, Ленька, уж это верно!»

Нет о Смуре и в переписке Горького с Груздевым. А ведь Груздев обстоятельно расспрашивал Горького о куда менее значимых героях. А слона не приметил! Но ведь Смурый несомненно один из главных, если не самый главный, герой «В людях».

Если бы Смурога не было, его нужно было бы выдумать. Как и особого бога бабушки. Как и злого Бога дедушки. Как и символику с лягушками. Как и многое другое, без чего трилогия перестанет быть художественным произведением.

Смурый с его колдовским сундучком, набитым разными по смыслу книгами, – это новый учитель еще несформировавшегося русского Заратустры. Его слова Алеша должен принять в себя, в самое сердце свое. Чтобы затем убить это в себе и двигаться дальше. Книги, покупаемые на базаре во время стоянок парохода то ли из-за доступной цены, то ли из-за привлекательной обложки или названия (Эккартгаузен! «Камень веры»!), – это слишком понятно и неинтересно.

Появление Смурога дает процессу книжного образования мальчика *лицо*. И не важно, что это лицо изрядно выпивающего малоросса, бывшего унтера. Это видит Горький и позволяет понять проницательному читателю. Но Алеша-то находится в зачарованном лесу исканий, сомнений. И потому Смурый в его представлении – это Колдун, и сундук его колдовской.

Сундук предлагает ему множество ответов на мучительные вопросы бытия. Смурый испытывает Алексея, как дьявол искушал Христа в пустыне. Однако дьявол задавал Христу искушающие вопросы, на которые у Христа были точные ответы, а Смурый как раз предлагает сомнительные ответы, которые побуждают Алексея задавать искушающие вопросы.

Образ Смурога, как и положено Колдуну, двойится в наших глазах. То это милейший человек, то злой и своенравный пророк.

«В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку, у стены ледника.

– Читай!

Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю:

– “Умбракул, распещренный звездами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пророков”...»

Колдун недоволен таким направлением мысли:

«– Верблюды! Написали...

<...> Он закрывает глаза и лежит закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ, он поправляет ее языком, затягивается так, что в груди у него что-то

свистит и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул, я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу.

<...> Он постоянно внушал мне:

– Ты – читай! Не поймешь книгу – семь раз прочитай, семь не поймешь – прочитай двенадцать».

7 и 12. У Колдуна и цифры не случайные, магические.

Но Колдун не знает, что перед ним не просто умный мальчик. Это Алеша Пешков, эдакий Колобок, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от тебя, Колдуна, тоже уйдет.

Карл Эккартгаузен – немецкий философист XVIII века. «Омировы наставления, книга для света, каков он есть, а не каким быть должен» – это собрание нравственно-поучительных новелл. Колдун подзадоривает ученика, поругивая одно и предлагая Алеше другое.

«– Сочиняют, ракальи... Как по зубам бьют, а за что – нельзя понять. ГERVасий! А на черта он мне сдался, ГERVасий этот...»

Однако «ГERVасия» в сундучке хранит и заставляет читать.

Мальчик с трудом читает название книги:

«Толкование воскресных евангелий с нравоучительными беседами, сочиненное Никифором архиепископом Славенским, переведено с греческого в Казанской академии иеродиакonom ГERVасием». Колдун хохочет.

И так же смеется Колдун, когда Алеша читает ему готический роман Анны Радклиф вперемежку со статьями Чернышевского, масонский «Камень веры» и антимасонский манифест Уилсона «Масон без маски, или Подлинные таинства масонские...». Смешно Колдуну. Но не Алеше...

Колдун по-своему любит Алешу, тайно надеясь заманить в силки какой-то *своей* веры, испытывая на духовную прочность. И Алеше нравится Колдун. Он отличается от «людей». Есть в нем загадка, ошибка в сотворении человека злым и неправильным дедушкиным Богом. Истина «что не от Бога, то от дьявола» заключает в себе, по мнению Алеши, прямолинейную и неинтересную мораль. Как и конец сказки о гордом Колобке.

«– Пешков, иди читать.

– У меня немытой посуды много.

– Максим вымоет.

Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня:

– Ссажу с парохода...»

Но ссадил с парохода Алешу сам Колдун.

«Взяв меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу на пристани. Мне было жалко и его, и себя; я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжелый, одинокий...

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей!..»

Правильнее сказать: отломившихся от людей *человеков*.

## Второй искушитель

Повесть «Мои университеты»: «Итак – я еду учиться в Казанский университет, не менее того. Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я “обладаю исключительными способностями к науке”».

Так на пути нижегородского колобка возник еще один искушитель. В его облике, в отличие от кряжистого колдуна Смурога, есть что-то женское. Евреинов ветрен и легкомыслен. Коварно совращает Алексея на путь служения науке и бросает его мыкаться в Казани.

Во всяком случае, так изображен в повести молодой Николай Владимирович Евреинов (1864–1934). На этот раз несомненно реальный человек, сын письмоводителя, гимназист, студент физико-математического факультета Казанского университета, добровольно, в знак протеста, покинувший университетские стены после разгрома студенческого движения за отмену сословных ограничений при приеме в университет. Вместе с ним подписал коллективное письмо Владимир Ульянов, будущий Ленин.

Горький не осуждает Евреинова ни в «Моих университетах», ни позже в письмах к Груздеву, понимая, что юношей двигало доброе сердце. Он подарил Алеше несколько недель сладких иллюзий. «...В Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам “кое-какие” экзамены – он так и говорил: “кое-какие”, – в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду “ученым”...»

Между прочим, добросердечный юноша был старше искушаемого на четыре года. Однако Алексей смотрит на искушителя несколько свысока. В свете своего жизненного опыта он быстро понимает, что такие, как Евреинов, живут за счет близких людей. В данном случае это была мать Евреинова, кормившая на свою нищенскую пенсию двух сыновей. Приглашая Пешкова в Казань, Николай по доброте сердечной сажал на шею матери третьего едока. «В первые же дни я увидел, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая саму?»

Серая вдова и Алеша поняли друг друга. Алеша исправил ошибку Николая. Ушел от Евреиновых и стал жить своим трудом. Мечты об университете он похоронил...

## Его школы

Приехавший в Казань с гордой мыслью поступить в старейший в России после московского университет Пешков не только не закончил гимназии, но и не имел никакого законченного среднего образования. Читать по-русски его кое-как наскоро научила мать во время одного из недолгих пребываний в доме Кашириных. Дед научил его церковной грамоте, да и то выборочно. Если верить «Детству», придя в школу, Алеша не знал ни ветхозаветной, ни христианской истории, зато наизусть читал псалмы и жития святых, чем немало изумил архиепископа Хрисанфа, однажды посетившего их школу. По-видимому, дед Василий был «начетчиком» в точном смысле слова, то есть тайным старообрядцем, не признававшим никонианской Библии.

Недолго мальчик учился в приходской школе, заболел оспой и был вынужден прекратить учение. Потом были два класса в слободском начальном училище в Кунавине, пригороде Нижнего, где Алеша некоторое время жил с матерью и отчимом. «Я пришел туда (в училище. – П. Б.) в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах «навыпуск», всё это сразу было осмеяно, за желтую рубаху я получил прозвище “бубнового туза”. С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп невзлюбили меня...» («Детство»).

Однажды пьяный отчим, «личный дворянин», на глазах у Алеши стал избивать его мать. Отношение мальчика (и затем Горького) к чужой боли было особенным. Он просто не выносил ее. При этом собственную боль замечательно переносил и в старости признался Илье Шкапе, что вообще ее, *своей* боли, не чувствует. Скорее всего, это было преувеличением. Но и поэт Владислав Ходасевич, близко общавшийся с Горьким, свидетельствует: «Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы – он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей».

Отчим не просто бил его мать. Он унижал ее, когда она не пускала его к любовнице. Больная чахоткой, значительно старше второго мужа, Варвара быстро потеряла свою былую привлекательность. Алеша пришел в ярость не только от переживания физической боли матери, но и от жуткой обиды за нее.

«Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины» («Детство»).

Алексей схватил нож («это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца») и ударил отчима в бок с явным намерением его убить. Если бы Варвара не оттолкнула мужа, Алеша убил бы его. Потом он заявил, что зарежет отчима и сам тоже зарежется. «Я думаю, я сделал бы это, во всяком случае, попробовал бы» («Детство»).

В результате из Кунавина Алексея отправили обратно к деду, который к тому времени разорился. Его «школой» стали улица, поля, Ока, Волга... И такие же, как он, обойденные родительской заботой мальчишки из русских, из татар, из мордвы, с именами либо кличками: Язь, Хаби, Чурка, Вяхирь, Кострома. Прозвище Пешкова было Башлык.

Но даже если бы закончил Алеша начальное приходское училище, для поступления в университет этого всё равно было мало. Приходские училища не надо путать с церковноприходскими, состоявшими в ведении Синода. Они содержались городом и «почетными блюстителями» из купцов. «Особенная цель приходских училищ – безвозмездное распространение первоначальных знаний между людьми всех сословий и обоего пола. В эти училища

допускаются дети не моложе 8 лет, а девочки не старше 11. От вступающих не требуется никакой платы и никаких предварительных сведений. В них преподаются следующие предметы: 1) Закон Божий по краткому катехизису и священной истории; 2) чтение по книгам церковной и гражданской печати и чтение рукописей; 3) чистописание и 4) четыре первые действия арифметики» («Памятная книжка Нижегородской губернии», 1865 год).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.